

18+

АНДРЕЙ ШАПЕЕВ



Андрей Шапеев

Суета

<https://litres.ru/74588587>

ISBN 9785007133586

Аннотация

Это трогательная и глубокая история о творчестве, сомнениях и цене человеческих чувств. Герои снимают кино, обсуждают местных знаменитостей и пьют кофе с пивом. Здесь сплетни — отдельная сила: никто до конца не знает правду, и каждый, как в притче о слепцах и слоне, видит лишь свою часть чужой жизни. Через народный гнев, страхи и тоску по «утерянному раю» прошлого книга предлагает читателю самому решить, кем на самом деле является господин, о котором говорят все вокруг, и на чьей он стороне.

Содержание

Предисловие от автора	6
4-е число июля месяца	12
Павел Павлович Ресницын	12
Фильм о суете	12
Его нестройная заметка о суете	22
Павел Павлович о своей жизни	23
Сергей Александрович Багусник	36
Список покупок, написанный рукой	36
жены его, Алины Семёновны Багусник (в	
девичестве — Никоноровой)	
Частный сектор, домишко Багусника	36
5-е число	44
Павел Павлович Ресницын	44
Заметка Павла Павловича от 5 числа июля	44
месяца	
У нас — дискуссия	47
Владимир Радомирович Пшеницын	51
Заметка о Крошке Еноте из сказки и	51
Нарциссе, сделанная в блокноте	
Прибытие в Петрозалив	57
Павел Павлович Ресницын	70
Его карандашные записки на полях «Дон	70
Кихота» Сервантеса	

Сестра рассказывает, как у неё дела	70
В салоне	78
На берегу	110
6-е число	122
Владимир Радомирович Пшеницын и Сергей Александрович Багусник	122
Встреча в коптильне	122
Новые знакомства	133
Конец ознакомительного фрагмента.	147

Суета

Андрей Шапеев

Редактор Дарья Колотова

Дизайнер обложки Андрей Шапеев

Корректор Дарья Колотова

Иллюстратор Андрей Шапеев

© Андрей Шапеев, 2026

© Андрей Шапеев, дизайн обложки, 2026

© Андрей Шапеев, иллюстрации, 2026

ISBN 978-5-0071-3358-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Андрей Шапеев

Суета

Предисловие от автора

Всем привет! Раз уж вы взялись читать эту книгу, я выражаю вам благодарность и надеюсь, что вы как минимум хорошо проведёте время. Эту книгу я писал с 2014 года и по 2019 год, с перерывами. Затем была редактура, и финальные правки я вносил уже в 2026 году. Да, книга — это большой труд, кто бы что ни говорил. Тем более что в ней 0% нейросетей. Можно сказать, что на сегодняшний день «Суэта» — это мой *opus magnum*, труд жизни. До этого у меня уже выходили книги, которые я люблю, — «Лесник», «Мелкотравчатая явь», психологическая брошюра «Как пережить смерть» и другие. Но ничего более глубокого по задумке, по психологии персонажей, по событийному и символическому содержанию ни до ни после «Суеты» я пока не создавал.

Даша, редактор. У меня есть редактор и друг, Дарья Колотова, она, как никто другой, глубоко погрузилась в текст, смыслы и символы «Суеты», мы многое в книге обсуждали и многое меняли совместно. Можно сказать, она в значительной степени повлияла на финальный текст, и это пошло ему на пользу. Бывают и опечатки, хотя мы отлавливали их как могли. Например, однажды при переносе документа куда-то пропали все дефисы, слив воедино слова, вроде «какой-то» — в «какойто». Я был очень разочарован этим, бросал вы-

пуск книги несколько раз. Сейчас мы восстановили все дефисы и отловили все ошибки, которые нашли.

Для кого эта книга? Я думаю, в первую очередь, книга для всех. Для всех, кто умеет или учится «не-понимать»: кто стремится смотреть на вещи без навязанных стереотипов и шаблонов мышления и хочет делать выводы, ориентируясь на контекст, а не на то, «как должно быть». Во-вторую очередь, для любителей русской классики. Я вдохновлялся именно ей, в частности Достоевским — тем, насколько объёмным и живым он сделал мир «Братьев Карамазовых» или «Идиота». И больше всего отклика «Суэта» вызвала именно у тех, кто ценит русскую классику. И в-третьих, эта книга для тех, кто любит копаться в характерах людей и разбирать причины их поведения.

Язык. Я писал нарочито старомодно — искал свой язык повествования для этого текста. Действия романа разворачиваются в 1990-х годах, а тогда явно так уже не разговаривали. Так зачем же я пишу именно так? Дело в том, что я хочу отойти от принятого тона повествования о 90-х годах: убежать от этой иронической небрежности, созданной разочарованием в несправедливости мира, которым пестрит вся литература о 90-х годах. Я хотел сосредоточить внимание читателя не на времени и его контексте, а на совсем других вещах, хотя и 90-е тут не случайны. Иными словами, хотел

избежать навешивания ярлыков в духе «раз это 90-е, значит то-то...». Напротив, есть такой приём — «остранение» (делать привычное странным), и я хотел как раз максимально «остранить» это время, чтобы оно воспринималось по-новому. В изначальном варианте текст и вовсе пестрил всяческими «дескать», «намедни», «решительно непонятно», однако Даша убедила меня смягчить напор устаревших слов и сделать этот язык более органичным для чтения сегодня, при этом задумка не пострадала.

Дневники и заметки героев. Ещё в «Суете» встречаются записки персонажей, они помогут лучше раскрыть внутренний мир героев и создать объём для их отношений к действительности. Если философские заметки покажутся скучными, можно их пропускать — впечатление от персонажей изменится, но на сюжет это повлияет лишь косвенно. И не нужно верить персонажам, все они в какой-то мере «ненадёжные» рассказчики, как и главный рассказчик.

О чём эта книга. Это трогательная и глубокая история о творчестве, сомнениях и цене человеческих чувств. В центре книги — несколько мужчин и женщин, разных по характеру, опыту и внутренней силе, чьи судьбы переплетаются на фоне тревожности, слухов, дружбы и предательства. Они снимают кино, обсуждают местных знаменитостей и пьют кофе с пивом. С разной глубоко проработанной мотиваци-

ей они вступают в значимые для них и для города в целом события. Здесь сплетни становятся отдельной силой: никто до конца не знает правду, и каждый, как в притче о слепцах и слоне, видит лишь свою часть чужой жизни. Роман исследует самооценку художника и творца, чувство вины, ответственность перед собой и другими, зависимость от авторитетов и мучительные творческие поиски. Через народный гнев, страхи и тоску по «утерянному раю» прошлого книга предлагает читателю самому решить, кем на самом деле является господин, о котором говорят все вокруг, и на чьей он стороне.

Приятного чтения!



г. Петрозавлив

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 — Автосалон | 24 — Пассажирский вокзал |
| 2 — Бар «Деревянный» | 25 — Питомник карликовых оленей |
| 3 — Барчик «Золото» | 26 — Питомник рысей |
| 4 — Высотки Невидные | 27 — Площадь Победы |
| 5 — Дом господина | 28 — Порт |
| 6 — Дом отдыха «Берёзовый сок» | 29 — Прачечная |
| 7 — Дом Павла Павловича Ресницына и его сестры | 30 — р. Побегушка |
| 8 — Дом Сергея Александровича Багусника | 31 — Район «Пегие высотки» |
| 9 — Дорога на палаточный лагерь | 32 — Район «Рыжие особняки» |
| 10 — Заповедник озера Плевел | 33 — Район Жухов (ул. Жухова и рядом) |
| 11 — Институт зоологии | 34 — Ресторан с обзорной площадкой |
| 12 — Колокольня с функцией маяка | 35 — Ржавый корабль |
| 13 — Копильня | 36 — Роща |
| 14 — Лавки | 37 — Салон «Приморский» |
| 15 — Маяк | 38 — Старевшая вилла |
| 16 — Милицейский автопарк | 39 — Севший район |
| | 40 — Склады |
| | 41 — Садовый мост |

Карта Петрозалива

4-е число июля месяца

Павел Павлович Ресницын

Фильм о суете

В баре «Деревянный», что на Английской улице, на небольшом телевизоре крутили как-то одно кино. Название у него — в точности на мою тему — «Суета». Я удивился совпадению, поскольку я давно размышлял о природе суеты в своих заметках и в обзорах. Однако, по правде сказать, фильм сразу показался мне странным: состоял из отдельных, не связанных между собой сцен. Во всяком случае, я связи между сценами так и не увидел. А если не увидели ни я, ни парень, сидящий рядом, значит, задумка не удалась. Так мне подумалось тогда. Поверьте, если бы вы видели этот фильм, вы сказали бы то же. А лучше — сами посмотрите и убедитесь. Надо, впрочем, отдать должное режиссёру и оператору за то, что они несколько сцен всё-таки впечатали мне в голову, а это удаётся у киноделов довольно редко.

Первая такая сцена показывала чернобыльник мокрой зимой, пружинисто качающийся на ветру. Вторая — чей-то глаз крупным планом: моргающий, улыбающийся, закатыва-

ющийся. Я не знаю, почему именно эти кадры привлекли моё внимание. Вероятно, потому, что чернобыльник, жёстко торчащий из снега, — это всегда очень живописно. К тому же природа способствует какому-то не всегда понятному, но яркому чувству в человеке. А сцена с глазом примечательна тем, что наглядно демонстрирует, как можно одним-единственным глазом передать такое огромное количество эмоций.

Парень, располагавшийся на соседнем барном стуле и уже выпивший много пива и съевший полкилограмма солёного арахиса, пьяно повернулся ко мне вполоборота, когда фильм закончился, а бармен поставил «День сурка» с Биллом Мюрреем. Преодолев пивное оупение и подавив икоту, парень истошно произнёс, глядя куда-то мне в область шеи:

— Ну-с, как вам это, с позволения сказать, кино?

Я тоже выпил пару бокалов, но скорее захмелел, расслабился, чем опьянел.

— Одно лишь подражание, — бросил бармен, гремя стеклом за стойкой. Он взглянул на парня, увидел, что его реплика предназначалась мне, спохватился и уступчиво покивал нам.

— Подражание кому? — вступился я. Мой собственный тон послышался довольно придирчивым.

Но парень явно обрадовался интересу собеседников, мотнул тяжёлой головой и начал воодушевлённо и сбивчиво:

— Подражание Тарковскому, кому же ещё? И притом до-

вольно неловкое подражание, хотя, как и любое подражание мэтрам кинематографа и... — Парень отвернулся и вздохнул, как вздыхает всякий пьяный, внезапно теряющий мысль посередине предложения.

Он напряг брови, слегка мотнул головой, горько усмехнулся, заглянул в пустой стакан из-под арахиса, затем допил остатки пива, выпустил тихую отрыжку, огляделся. И чрезвычайно удивился, что его, вопреки его ожиданиям, ещё продолжают слушать. От такой ответственности он пять секунд бросал рассредоточенные взгляды по окружающему пространству и, остановившись на телевизоре, точно протрезвев, бодро произнёс:

— Суета! — и поджал губу. Он явно забыл, о чём начал говорить, но помнил, что говорили о фильме. — Да, кстати, этот фильм я снял. — И посмотрел на меня.

Я тут же порадовался, что не отпускал вслух никаких замечаний насчёт фильма.

— О, простите, я уже и забыл, что именно вы принесли эту кассету, — оправдывался бармен, — на любительскую запись не похоже... если я и сказал «подражание», то только в смысле некой узнаваемости, почерка, что ли. По правде сказать, я думал, что данная работа — это дело рук какого-то именитого режиссёра, у которого за плечами много хороших фильмов, а этот — просто проходной. Вы не подумайте, мне понравился фильм. И должен сказать, что название ему подходит. Тема раскрыта, хотя и вполовину, как бы, — бармен

замешкался, забрал стакан у парня и стал его мыть. — Я хотел сказать, что всё неплохо.

Очевидно, бармен разрывался между желанием умиловить молодого режиссёра, стремлением избежать возможного пьяного скандала, который, несмотря на спокойствие клиента, по опыту бармена предполагался им, и в то же время упорным нежеланием неоправданно льстить.

— Всё в порядке, — опустив голову, произнёс парень, — этот жанр обречён на вымирание. Вот есть классика — она вечна и непоколебима. А всё, что после неё и похоже на неё, — подражание, а значит, при определённом, так сказать, свете — почти пародия. Так что вы совершенно правы, я не обижаюсь, и обидеться в этом случае не могу. Этот фильм я снимал не критично. И открыто подражал. Притом подражал самым порнографическим образом — то есть только форме изложения материала, а сам материал за этой формой потерял. Не видно сюжета. Не видно драмы.

Бармен каким-то особым вопросительным жестом показал парню чистый стакан.

— Нет, мне хватит. — Парень снова тихо выпустил отрыжку, поджал нижнюю губу и, кажется, опять потерял нить разговора, но на этот раз расстраиваться не стал, а лишь посмотрел на меня, на мой галстук — так, невзначай, словно бы просто бродя взглядом.

— Мне понравились сцены с чернобыльником и глазом. По правде сказать, я смотрел не слишком внимательно и пре-

емственности сцен не заметил, простите. Но этот чернобыль-ник и глаз меня прямо-таки поразили своей почти буддийской или дзеновской медитативной магией, если можно так выразиться. Весь фильм — сущая суета, как, наверное, вы и хотели сказать, а эти две сцены значительно длиннее, показывают некий контраст и проводят словно границу между миром нашим и миром вечным, пребывающим во всегдашнем неспешном течении реки времени. И даже этот глаз — суевающийся, многоэмоциональный, но не он, а взгляд камеры на его лихорадочность — вот что спокойно и непреклонно. В этой сцене и есть самый накал — столкновение суеты и её наипрямейшей противоположности.

Парень в очередной раз протрезвел. Конечно, такая трезвость — ложная, преходящая у изрядно пьяного от одной интересной доминирующей темы до другой, от полного беспамятства до пугающей, почти бредовой ясности. Он поглядел на меня странным взглядом, соскочил со стула, чуть качнувшись, схватил мою руку и стал жать её двумя сухими ладонями, почти исступлённо глядя мне то в один глаз, то в другой. В нём бурлила какая-то фанатичная благодарность.

— Да что вы, — растянул я и не сдержал лёгкого смеха недоумения. Впрочем, по правде сказать, меня заинтересовала эта его реакция, но не из тщеславия или горделивости, а своей искренностью.

— Я крайне рад, что вам понравился фильм.

Я снова хохотнул, но уже от изумления, а также чтобы в

глазах парня снять нашедшую на него убежденность в чрезвычайной серьезности моего замечания, дескать, полно вам, я всего лишь высказал мнение.

Парень облизнул губы, снова посмотрел на мой галстук, отпустил мою руку, решительно кивнул, с тем же фанатизмом в глазах вернулся на свой стул, всё ещё впечатлённый моим вниманием. Бармен не поднимал на нас взгляда и улыбался одним уголком рта. Билл Мюррей на экране выставил зубы в подражание грызуну. «Тебе нравятся мужчины с выступающими передними зубами?» — спрашивал он с таким видом у Розали МакДауэлл. Кроме нас троих в баре уже больше никто не сидел: только что кто-то четвертый вышел и брякнул дверью. Так что краснеть за общение с пьяным мне оказалось не перед кем, и я сказал парню:

— Я публицист. И мог бы написать рецензию на ваше кино, если оно есть в прокате. Впрочем, если и нет, выпустить его небольшим тиражом и разместить в магазинах и пунктах видеопроката вряд ли представится проблемой. Большого внимания я не гарантирую, конечно, но кое-что...

Парень чрезмерно напился и вряд ли понимал, что я хочу сказать. Всей его силы хватило только на предыдущее моё замечание, и то я не имел никаких гарантий, что он услышал именно то, что я говорил. Так что я достал из кошелька свою визитку и протянул ему. Он напрягся, вглядываясь в неожиданно оказавшийся в его руках предмет.

— Павел Павлович Ресницын, — пробормотал парень,

несколько раз запнувшись на произнесении моего отчества. — Редактор журнала «Кинокухня», — он поднял на меня рассеянный взгляд, — незамысловатое названьице. Что ж, весьма вам признателен.

Фанатизма в его глазах и след простыл. Сейчас его состояние скорее оказалось несколько ближе к беспамятству.

— Андрей Тимофеевич, — он снова протянул руку, но на этот раз как-то вяло. Я пожал её. — Я правда рад с вами познакомиться, — сказал он поникнув всем телом, потёр глаза, сунул мою визитку в карман рубашки. — Мне, наверное, пора уже отчаливать. Я вам обязательно позвоню. Мне пора. До свидания, Павел Павлович. Пока.

Он встал и, качаясь, вышел из бара. На выходе по-детски неловко подтянул брюки. На большом белом циферблате часов над выходом стрелки указывали на половину второго ночи.

— Какой интересный молодой человек, — заметил я бармену. — Конечно, он пьяный, и понять, каков он есть, сейчас трудно. Вроде неловкий весь, нестройный духом, но есть в нём какой-то неизгладимый отпечаток творческого безумия, что ли. Впрочем, надо бы ему совершенствоваться, так это всё оставлять не нужно, не годится. Вот отчего он, дорогой мой, так напился? Из-за провала кинопоказа, небольшого количества зрителей, из-за чего-то ещё или просто из привычки? Смею вам заметить, что парень он вполне серьёзный, а также что в его творчестве задумка чувствуется, но как буд-

то весь фильм через мутное стекло задумка плохо проступала. Всё же он славный малый, хотя и не без странностей.

— Он иногда заходит показать фильмы, просто посидеть. И хоть и напивается, но всегда уходит на своих ногах. Есть у него страстишка к пиву, но особенно не сказал бы, чтобы губительная. Во всяком случае, я, знаете, многое здесь вижу. Знаю, сколько кто пьёт. Приблизительную статистику прикинуть тоже способен, — бармен говорил, словно оправдывая Андрея Тимофеевича. — Крепкий середнячок по этой части, могу вам сказать. Серединка — не больше и не меньше, могу поручиться.

— Дорогой, — обратился я к бармену твёрдо. — Успокойтесь, я не намерен выведывать все тайны ваших клиентов разом. Я, вообще-то, спросил, отчего он напился. Да и то скорее это вопрос, не требующий ответа.

Бармен поднял брови и учтиво кивнул. А я принялся допивать пиво и смотреть кино. У меня остались не слишком приятные впечатления от беседы с этими двумя молодыми людьми. Не зная, в чём конкретно дело, я несколько раздосадовался, сидел и разбирал суть разговора. Неприятными остались, пожалуй, два момента. Один — когда парень переменялся в лице и как он ушёл. Бог его знает, что пришло в его пьяную голову, что он так резко перескочил. И всё это кажется сущим пустяком, да только об этот его уход будто что-то во мне споткнулось. Как будто от такой внезапной перемены в настроении парня вдруг сбились некие доселе рит-

мичные жизненные колебания в моей душе, да и в теле тоже. Я медленно вздохнул и списал всё это на позднее время. Второе неприятное обстоятельство — лихорадочное поведение бармена. Точно его беспокойство передалось и мне.

Вскоре, осознав это, я быстро вернул свой прежний ритм, а произошедшая беседа показалась мне приступом некой духовной тахикардии, как будто многокамерный дух мой, подобно сердцу, вдруг на мгновение сбился, осёкся, что повлияло на меня раздражительно и вредно. Я словно весь сотрясся, но тут же расслабился, как сотрясается и расслабляется спящий, с той лишь разницей, что я, кажется, бодрствовал. Во всяком случае, физически.

После непродолжительного просмотра «Дня сурка» я испытал какое-то щекочущее ощущение бессмысленной траты времени. Часы над дверями стукнули маленьким молоточком по колокольчику два раза. Я расплатился, попрощался с барменом и ушёл.

На улице шумела тишина. Мой дом отсюда находился недалеко, и я неспешно побрёл в его сторону. Уже возле дома под цветущей акацией я увидел компанию панков, пьющих портвейн и поющих под гитару. Они пребывали в каком-то лирическом настроении и располагались весьма непринуждённо, так что, когда я входил в подъезд, на меня никто из них не обратил внимания. Обычно же они то мелочь спрашивают, то сигарету.

Сестра уже спала в зале на диване, уснув в неудобной позе,

на её миловидном и серьёзном лице словно отражался этот дискомфорт: брови сведены, уголки губ немного опущены. На экране телевизора горела неподвижная цветная схема. Я выключил телевизор и сел на край дивана. С шумом она втянула носом воздух и слегка потянулась.

— Я не хотел тебя будить, но ты спала как-то беспокойно, — прошептал я, — и... ляг-ка поудобнее.

— Который час, Паша? — спросила она, переворачиваясь на другой бок.

— Уже почти половина третьего. Встретил в баре одного, с позволения сказать, режиссёра. Ты же знаешь, кино описывать и критиковать — это одно, но когда можешь взять интервью — это совсем другое. Вот мы с ним и пообщались. Кино, честно говоря, посредственное, но что-то в этом парне есть. Какой-то почти незримый невооружённым глазом мощный потенциал. И вот этот парень не знает, как его выразить, понимаешь? А мне вот интересно... — вдруг я понял, что говорю это больше себе, чем ей. — Извини, что тут болтаю. Спи, Машенька, я пойду к себе.

Сестра промолчала, но когда я уже входил в свою комнату, вяло сказала:

— А разве у тебя режиссёров не целый вагон?

— Целый, — ответил я.

— Спокойной ночи, — пробормотала Мария.

Его нестройная заметка о суете

Эта чудовищная суета! Как она мне опротивела! Я, конечно, не смогу найти хотя бы одного знакомого, который сказал бы, что любит суету. Всё потому, что суета — это осознание чувства неупорядоченности. А чувство неупорядоченности, в свою очередь, есть осознание неспособности успеть и доделать хоть какое-нибудь дело. Так что суету надо осознать даже дважды, и посему её обнаружить крайне трудно. И стоит порой невероятных усилий понять, что суетишься, притом усилия эти не есть усилия воли, это усилия духа. Слышу внутренний голос: «Простите, что же значит этот ваш „дух“?» Дух — это то, что есть вы... Я... то есть пределы того... нет, не так. Дух — это то, что существует в пределах, на которых заканчивается «Я» и начинается вот это всё, что вокруг. Дух словно бы парит от одной границы «Я» и до внешней.

Кстати сказать, если вас коснётся физически другой человек как носитель «Я», то он, как часть мира, всё равно остаётся частью окружающего мира, но иногда как отдельная его, некая «родная часть» мира, но — мира! Таким образом, всё, что не есть я, то — мир, а то, что не есть мир, то — я. И вот перескоки внимания с «Я» на мир и с мира на «Я»... Скорость этих перескоков и есть эта самая неупорядоченность. Тут важно их осознать, иначе суета

та навалится и не даст дышать. Останется только головой под подушку — плакать, задыхаться, разрезать глотной воздух спальни всхлипами и воплями. Суета такова: если её вовремя не осознать, то всё потеряно.

Павел Павлович о своей жизни

Следует, видимо, рассказать, как я стал тем, кем стал. Рассказ получится не из длинных, но и не из слишком коротких и лёгких, так что если вы любитель историй быстрых и динамичных, где предложение длиной в одно слово — не редкость, а реальная необходимость, то вынужден просить меня простить. Моих литературных талантов явно недостаточно для описания таких преходящих одна в другую ситуаций, да и внимание моё столь скудно, что не может переключаться стремительней, чем сейчас, не может преследовать более одной сцены одновременно.

Впрочем, простите меня и за это ёрничество, я в последнее время пребываю в весьма смутном состоянии духа, в положении сильно лихорадочном. И хотя естественным для сознания человека будет отправляться от событий крайних и до самых давних, то есть двигаться в прошлое, я всё равно постараюсь сделать мой рассказ удобочитаемым. Давайте обо всём по порядку.

Я родился в семье отца-карьериста и матери-домохозяйки. Начну с отца, которого я видел редко. Преимущественно

по воскресеньям с утра — на рыбалке, а во второй половине воскресенья он уже снова корпел над какими-то бумагами, и лучшее, что все мы могли с этим сделать, — уже более его не трогать. Я им гордился. Как он в шутку мне говорил, подмигивая, что он — «единственная надежда и опора всей партии», при этом как бы в скобках и про себя добавляя «...районного масштаба». Человеком он считался в нашей семье хоть и занятым, но весьма чутким, семью любил. Во всяком случае, так способен заметить довольно угрюмый отрок, каким рос я до пятнадцатилетнего возраста. В воскресенье он будил меня засветло, и в силу привычки я никогда не сопротивлялся, а напротив, с великим желанием собирался и шёл с ним. У меня даже вопроса не появлялось, как можно пропустить это воскресное предприятие. Более того, одно время, когда я учился в классе восьмом, я даже считал, что более нет ничего в жизни столь же естественного, столь же благожелательного, чем ходить с отцом ловить рыбу за тем, чтобы неведомо как, но положительно установить связь с миром, с природой, с отцом. А потом чтобы мать разделала пойманную нами рыбу, и мы отобедали бы всей семьёй. Много в том содержалось фантастически радушного. Возможно, в силу того, что единственно тогда и единственно так я мог общаться с отцом. Ведь в иные мгновения он показывал себя каким-то суетливым, не мог дольше минуты сосредотачиваться на чём-либо, что не касалось бы его партийной и социалистически-просветительской деятельно-

сти. Тогда он вёл себя чрезмерно поспешно и порывисто, а порой, когда его от работы отделяли какие-то обстоятельства, не связанные с ней, он становился чрезвычайно неуёмен, раздражался, бегал глазами, потел и порывался ежеминутно избегнуть этих самых обстоятельств или даже со злобой вырваться из-под них. Так что иметь с ним какие-либо дела и вопросы оказывалось решительно невозможно во все времена, кроме воскресенья до обеда. Во время тех обедов он пребывал в весёлом расположении духа, по отношению ко мне и к маме становился обходителен, способен и на шутку, и на искренность. Постепенно к концу обеда он всегда как бы переходил от обходительности к некоему дрожащему заискиванию. И уходил в комнату работать как-то сгорбившись и даже несколько иным человеком, чем вставал утром.

Я пробовал несколько раз в силу подросткового пыла ходить на рыбалку в одиночестве или с другом Серёгой Багусником, о котором ещё скажу ниже. Но результат в обоих случаях оказывался крайне неприятным. Вроде бы и рыба клевала, и птицы пели, да что-то шло не так, и я заканчивал ловлю в раздражении, мне становилось как-то душно, не хватало воздуха.

Случалось, отец приходил с работы уставшим почти до беспамятства, тогда я замечал застывшую спокойную улыбку у него на губах — свидетельницу крайней удовлетворённости. Тогда он с несвойственной ему неторопливостью во всём теле ужинал с нами, мечтательно читал вечернюю газе-

ту или смотрел телевизор. Если в такие минуты его о чём-либо спросить, он отвечал как-то коротко, спокойно и даже приторможенно. Без сомнения, в моменты его удовлетворённой усталости он не присутствовал здесь, а реагировал на всё словно откуда-то из-за плотной занавески.

Но пуще прочего его отстранённость от происходящего дома быта наблюдалась в обычные дни, когда он приходил не задерживаясь и не уставая до безумия. Эта отстранённость происходила из совершенно иных его переживаний. Тогда он пребывал в положении духа беспокойном, раздражительном, но не более чем нужно, чтобы его оставили в покое. Однажды в один из таких вечеров я заметил (да простит меня его душа), как он грызёт ногти за своим столом, сплёвывает их в нагрудный карман рубашки, а в глазах — исступлённость, близкая к одержимости.

Вероятно, на работе он вёл себя разительно иначе. В противном случае его давно бы уже отправили из партии подальше. И тогда то была бы для него смерть в самом прямом смысле.

Возможно, я несколько преувеличиваю. Однако считаю важным особенно отметить, что так видел его я-ребёнок, его сын, таким я его и помню по сей день. Утро воскресенья, по-видимому, являлось для отца, вечно тонущего в пучине дел, глотком воздуха. Тогда он позволял себе быть самим собой. И потому для меня особенно дороги эти наши с ним воскресные почти что ритуальные поездки. И поездки те случа-

лись независимо от времени года. Зимой мы ездили на автобусе на небольшое озеро к северо-востоку от города, а летом по большей части ходили на реку — менялись только одежда и снасти. Несколько раз мы даже брали моторную лодку у его знакомого и ходили в море. Если в силу обстоятельств мы не могли рыбачить, например, если я болел или он был в отъезде, то я ощущал, будто теряю что-то решительно необходимое. Я чувствовал себя настолько несчастным, что замыкался на следующие полнедели, пока будние заботы не выскребали меня из моей раковины окончательно. Так вспоминаю я теперь. Сейчас кажется странной эта зависимость от рыбалки с отцом, но тогда мне не виделось ничего более естественного, чем, сидя на берегу озера, вглядываясь в утреннюю дымку, говорить с ним о чём угодно и сколь угодно искренне. Можете укорить меня в излишней сентиментальности, и будете правы, но стоит ли говорить о том, что для меня те мгновения дороже, возможно, каких-нибудь божественных откровений. Они и есть те самые откровения! Как-то раз, когда я почти задремал над удочкой, перед моим мысленным взором вдруг, как озарение, предстало, как единственно возможно в этом мире умереть так, чтобы было «совсем не жалко». Это была бы смерть в неспешном и благодатном растворении в солнышке, в бликах на воде, в невесомой дымке, в трелях ранних пташек, в примятой под моим раскладным стульчиком траве. Или можно прорасти в землю какими-нибудь корнями и стать деревом, но непременно

но чтобы сознание плавно растворилось. Я поделился этой мыслью с отцом, и он с улыбкой меня понял и добавил, что тогда бы любая жизнь была этим «искуплена».

Но довольно об этом. Да, пожалуй, я безмерно преувеличиваю насчёт волшебности таких посиделок, преувеличиваю совсем бессовестно. И конечно, бывали дни (и их было значительно больше), когда мы просто ловили рыбу, обмениваясь только репликами, необходимыми для общего дела. Бывали и скучные воскресенья. Но одно я могу сказать вам абсолютно точно: время, проводимое с отцом, когда он не сутился, в любом случае для меня бесконечно дорого.

Мне было пятнадцать с небольшим, моему отцу — тридцать шесть, как и мне теперь, когда сердечный удар свалил его прямо на межобластном съезде. Его лицо в гробу выглядело так же, как в будние вечера, когда он до блаженства сильно уставал. Казалось, он улыбался. Если бы можно было одной ёмкой фразой описать выражение, которое застыло на его лице, то этой фразой стало бы «Подождите, дайте ещё немного времени», хотя в посметрной улыбке виделось какое-то противоречивое понимание, что все метания всё равно напрасны, и что вот оно — всепоглощающее спокойствие, то самое растворение в утренней дымке, и остаётся ему только отдаться. Конечно, это можно объяснить основами физики мёртвых лиц, биомеханикой и прочая, и никакой мимики у трупов нет. К тому же я отдаю себе полный отчёт в том, что всё это мнимое, мною юношей выдуманное впечатление. Но

какое же это впечатление отчётливое!

После себя отец оставил четыре битком набитых ящика стола и целый книжный стеллаж мелким почерком сделанных неуверенных и сбивчивых записей, а также толстую монографию «Из вчерашней стройки в завтрашнее счастье», в которой изложил довольно утопическое видение светлого коммунистического будущего, основываясь на трудах Маркса, Энгельса, Ленина и более поздних деятелей. Он не дожил до распада Союза семнадцати лет. Дочери своей, то есть моей родной сестрицы, он не увидел — она родилась через два месяца после его внезапной смерти.

Вскоре я поступил на журфак. Горел разного рода максималистическими идеями, работал где-то принеси-подай, параллельно встречался с девчонками, порой слишком много пил и иногда даже дрался за идеи с несогласными. Таковой вспоминается моя юность. Хотя этим она, разумеется, не исчерпывается.

Я, верно, не слишком последователен, хотя обещал придерживаться хронологии, в чём и каюсь. За изложением впечатлений моих от жизни отца я совсем забыл сказать о нашей матери. Наша мать всегда жила словно бы в какой-то застывшей надежде, в ожидании. С таким лицом, какое у неё было всегда, молодые девушки молятся на образ девы Марии. Точнее, пожалуй, сказать решительно невозможно. Смиренная серьёзность вечного ожидания в ней сочеталась, однако, с неслабым оптимизмом, из-за чего, вероятно, мы с сест-

рой и выросли более-менее здоровые духом. Чего стоит одно лишь то, что и мне, и сестре она сама выдумывала и рассказывала сказки. Да настолько увлекательные и поучительные, что ей впору было печататься в издательстве детской литературы. Ребёнком я воспринимал это как разумеющееся само собой, но куда познавательнее мне слушалось, что она рассказывала моей маленькой сестрёнке, когда мне уже исполнилось восемнадцать-девятнадцать. То было воистину что-то чрезвычайно любопытное. Мама, казалось, была слита с нашим бытом, она была его воплощением. Всё — от стирки до готовки — давалось ей легко и играючи. Я знаю, как другие матери могли тяготиться своими домашними обязанностями, но моя, кажется, родилась для этого. Она была будто некий дух, носящийся над водами для мытья пола и огнём вселенским под кастрюлей с картошкой. Я так говорю исключительно для шутливого сравнения и вовсе не иронизирую над матушкой. Напротив, я восхищаюсь её умением вести домашние дела. Конечно, мама не работала, хотя её сверстницы и вели дела по дому, и вынуждены были работать. Но ей, видимо, учитывая положение отца на службе, можно было сидеть дома, что в те времена являлось скорее исключением, чем правилом. Она состояла в клубе домохозяек при ДК, и по поводу работы её не беспокоили.

Её страстью было вести бодрые разговоры с подругами на кухне и по телефону, придумывать истории, читать журналы по современной моде и по разведению домашних цветов,

да так что этих журналов у нас образовывались толстые подшивки. Из основного — всё. Вместе с тем временами на неё накатывала какая-то самоотрешённость и заторможенность, и она могла подолгу сидеть в одной позе и смотреть на качающуюся за окном акацию. Впрочем, если б не было акации, она смотрела бы просто куда-нибудь. То её состояние всегда проистекало от поведения отца — так она, видимо, пыталась осмыслить их отношения или что-то ещё мне неизвестное. Может быть, и нет. Но всё-таки они жили совершенно разнящимися друг от друга жизнями, существовали практически в отдельных мирах. И все их диалоги преимущественно совершались в постели. Они ссорились по-настоящему сильно не часто, однако, когда это происходило, отец злился, но не на неё или на себя, а лишь будучи не в силах сдерживать негодование и излишнее волнение; мама же больше причитала и плакала. Они в такие моменты старались не показываться мне на глаза, но всё же основную причину я способен был уяснить — трудового пристрастия отца и вытекающее из них невнимание к матери.

Я рос, как можно уже заметить, не во вполне обыкновенной и среднестатистической семье. Во-первых, мои бабушки и дедушки жили отдельно. Во-вторых, мать не работала, я был единственным ребёнком. И наконец, в-третьих и в-главных, я не понимал рассказы других ребят о казусах и досадах, случавшихся от случаев пьянства их отцов, а они не понимали, что у меня, напротив, этого не бывало, но зато ча-

сто бывало что-то решительно отличавшееся. Стоит ли в таком случае говорить, что на моего отца другие дети смотрели недоверчиво и порой даже потешаясь. Они не могли понять, что их-то отцы хотя бы с ними, и не могли понять, насколько я привязан к своему. Привязан беззаветно и болезненно.

Так и моя мать была привязана. И выражение её лица, как будто всё время взывающее к небесам, но при этом весёлое объяснялось во многом этой привязанностью. За своим весельем и шутками она прятала глубокую убеждённость в беспросветности такой семейной жизни, и была ли вообще у неё какая-то семейная жизнь? Хотя бы первое время после вступления в брак?

Сейчас я на многое смотрю иначе, и потому многие вопросы теперь останутся без ответа, так как всё, что происходит с нами в детском возрасте, к тому же когда мы ещё малых сил умственных, кажется чем-то само собой являющимся. Так оно само собой, даже если, простите, приходится ребёнку видеть ужасы, от которых взрослые впадают в безумие. А всё ведь потому, что сравнивать не с чем. И только когда обстоятельства меняются, по прошествии целых лет мы глядим в своё прошлое, вопрошаем да вопрошаем себя: «Как же так? Ведь как же это я?», а ответить уже не способны.

После смерти отца мать всё-таки вынуждена была работать то тут, то там. Затем задержалась где-то на телефоне. После школы я поступил в институт. Днём учился, а вечером работал: сначала в автомастерской городского автопарка —

на подачках, а потом в копильне — тоже на подачках. На последнем курсе удачно написал одну статейку в газету про фильм Эльдара Рязанова «Гараж» о гротеске и претенциозности персонажей или что-то вроде того. Помню, что не поспешил на заковыристые словечки, вставляя их к месту и не к месту. В итоге статья вышла нескладной, с присущим юноше желанием непременно увидеть «всё во всём», с амбицией. Однако главному редактору она понравилась, видимо, как раз за эти бросающиеся в глаза качества. Он вызвал меня, дескать, его газете необходимы всякого рода эксцентричные умы, которые могли бы ярко и броско обратить внимание читателей на то, что замечают далеко не все. Так что и потом я некоторое время ещё работал в той газете.

Через шесть лет после института, а по-иному — семь лет назад, умерла наша мама. Сестра моя переживала эту трагедию настолько тяжело, что несколько дней кряду не вставала с постели, и слёзы лились у неё, бедняжки. Не жалела себя, не имела сил встать.

«Я всё вижу, вижу, как она вся высохшая то ли сидит, то ли лежит и молчит, улыбается, глядит на меня, Паша... — причитала сестра каким-то глухим голосом, хриплым и болезненным, — ...смотрит — от всего человека одни глаза — угольки-то зрачков и остались, с тонкой голубой радужкой остались. „Ничего, — говорит, — Маша, ничего. Всё будет славно“. И слово „сла-авно“ ещё так растягивает, что само слово-то и не узнать. А я сижу и смотрю на неё, то ли шутит

она, то ли надежду мне внушить пытается. Но в любом случае это жестоко всё. Жестокая шутка, а надежда — то и во все безжалостна с её стороны. Так я тогда подумала. И только я в аптеке очередь выстояла, как не стало её, Павлуша. Как сидела в постели, так и осталась. — Тут сестра зарыдала и уткнулась лицом в подушку. Сил на крики у неё уже тогда не оставалось, и она бесшумно обмякла, потом подняла лицо от подушки и продолжила. — Глаза смотрят, понимаешь, смотрят. Вернее, как будто бы смотрят. Рука так выставлена ладонью вверх, а на ладони — солнечный свет из окна. Я сразу подумала, что она так уснула — с открытыми глазами. Просто уснула и скоро проснётся. Я не стала её трогать, пошла обед варить, а внутри у меня всё так и заходило ходунном. И тут уж туман и спал с меня...»

Машенька говорила — ей это было необходимо, а я всё гладил по волосам её мокрым, спутанным, гладил. Да, наша мать болела, а затем умерла. Так вышло, что я всё возможное время пропадал на работе и не был рядом.

Что же касается моей сестрицы, которой скоро уж двадцать два года, то с ней у меня ещё будет возможность познакомиться вас. Скажу только, что сестра моя, Мария Павловна, знала отца только из рассказов о нём да по фотографиям, и посему мы с ней настолько разные, что порой с первого взгляда люди принимают нас с ней то за родителя с дочерью, то за пару весьма странную. Мария заканчивает университет и пишет диплом об улучшении устройства тракторных гусе-

ниц. Талантливая девочка, светлый ум, но есть в ней что-то сугубо Ресницынское, проблемное, что ли. Какой-то сплин и томление необъяснимые и невыразимые. Видимо, есть какой-то ген тягостной истома. Впрочем, скорее всего, нет такого гена, и истома эта приобретается в возрасте. Или же достаётся по наследству, а в возрасте только разворачивается. Не знаю.

Сергей Александрович Багусник

Список покупок, написанный рукой жены его, Алины Семёновны Багусник (в девичестве — Никоноровой)

Масло — 200 г

Батон — цел.

ч. Хлеб — 1/2

кефир — 0,5

*молоко 1 л «Ладожское», ЕСЛИ ДРУГОГО НЕТ — НЕ
БЕРИ!!!*

макароны «рожки»

*Фарш (комоч рынок у баб.) — 500 г свиной или говяжий.
пирожное (недорогое)*

Частный сектор, домишко Багусника

— Ты всё купил, что я написала? — послышался голос жены из кухни, когда Сергей Александрович вошёл с пакетом домой.

— Купил всё, кроме батона. Ты представляешь, его разобрали! Какой-то тип схватил его прямо перед самым моим

носом. Ты была права, что надо выйти раньше. Зато я нашёл отличнейший фарш, честное слово, хороший и дешёвый. Бабка одна мне заявила, что корову надобно ей срочно распродать, пока муж её не хватился. — Он засмеялся в усы, ставя пакет у холодильника.

— Значит, скорее всего, тебе продали старую корову! И как мне без батона котлеты лепить, можешь ли сказать, не будешь ли ты так добр? Или, быть может, ты иной способ знаешь? Ну тогда не поделишься ли этим способом... — жена разбирала пакет и всё больше распалялась, — разве тебя можно посылать за продуктами? Это молоко разве «Ладожское»? Я тебе какого сказала купить? А?

— Дык... «Ладожского», да его ж не было, я тебя уверяю. Было это, да и то немного. Больше и не было!

— А я почему всегда прихожу с тем, что нужно, когда в магазины выбираюсь? Или мне везёт больше, чем тебе?

— Я не знаю, но, верно, ты сама с собой на уступки пойти способна. С собой-то, когда б я сам список писал и при том не нашёл бы чего-то, смог бы на компромисс... А так, когда другого посылаешь, всегда-то, кажется, лучше знаешь и всегда в выгоде останешься. А когда с собой-то — пусть хоть и не «Ладожское» молоко купишь, а квас хлебный, пусть даже и дороже самого молока, а лишь бы удовольствия себе принести. Хотя если и неудовольствие, то себе смотреть уж от такой-то замены сможешь в глаза, уж от такого-то компромисса. Потому-то ты всегда по списочку-то и берёшь, что мо-

жешь в этом списочке закалякать что-то и рядом написать.

Сергей Александрович, казалось, всерьёз рассердился на жену свою, словно струна терпения лопнула, да наступил тотчас такой момент, после которого умалчивать более о придирах жены было невозможно. На усиливающиеся в tone причитания вышли из комнат сын их десятилетний и дед Игнат — отец жены, живущий с ними вместе в одном доме. Сергей Александрович всё не унимался. Кроме того, возможно, он только начинал свою тираду: бухтел, всё более и более возмущаясь, и усы его рыжие густые, которыми он весьма гордился, при этом шевелились всё живее:

— А давай я вот тебе списочек-то напишу да в хозяйственный магазин зашлю. Сможешь ты олифу от морилки-то отличить? Нет, и не пеняй на то, что написано на этикетке. А ту ли ты олифу купишь? А подойдёт ли она? А купишь ли ты пассатижи, если я скажу, или кусачки принесёшь? А вот пусть даже и бог с ними, с пассатижами! Дюбелей сможешь выбрать, чтоб к сверлу? А я знаю, что нет, не сможешь. За то тебя и не обижаю, а сам хожу, если надо. Мне вон ещё сегодняшним днём надобно, пока краска не высохла, калитку привести в вид. Вы начали, — неожиданно бросил он деду Игнату. — А закончить как же? Не способны? Я и закончу за вас...

— Я-то смогу купить краску или что там ты говорил. А вот ты с голоду издохнешь или заразы какой-нибудь купишь, да всю семью, не знаячи того, перетравишь, — ответила жена

совершенно спокойно.

Сергею Александровичу особенно не понравилось, что его жена вот так спокойна, когда он так негодует, и, более того, ещё и как бы само собою констатирует, что-де она без него сможет преспокойно.

В последние несколько лет щемящее чувство бесполезности чрезвычайно сильно бредило душу Сергею Александровичу, оттого и выходило из него порою что-то, от чего он мог упасть в бешенство, но всегда останавливался.

— Экий ты, сынок, распсихованный стал, — проскрипел дед Игнат, — всё тебе не так. Дочь-то моя, поди, конечно, не подарок, да и сама по себе, без твоей помощи, подарком не станет. Тут и твоё надобно желание...

— Дед, вы всю жизнь вот так! Никогда моей позиции занять не способны! А ведь это не потому, что я всегда не прав, а единственно потому, что она — дочь ваша, и что тут ни твори, всё бестолку. — Тон Сергея Александровича пошёл на спад. Очевидно, он в очередной раз убедился в бесполезности своего бунта.

Однако он не знал, что каждый его бунт был не столь уж и бесполезен. Дело в том, что с каждым таким возмущением его хотелось меньше беспокоить, но не по причине внезапно пришедшего уважения со стороны домашних (к чему он стремился), а даже наоборот, будто бы от нежелания ворошить в нём мерзкое паучье гнездо его скверных чувств.

— Мама, а давай я схожу и поищу батон? — предложил

сын, держась за дверной косяк и игриво болтаясь из стороны в сторону. — А потом ты меня гулять отпустишь. Там пацаны...

— И ты, Миша, туда же, — сказал Сергей Александрович тоном Цезаря, которого предал Брут.

Он более не возмущался, а с этими словами стремительно покинул кухню, не дожидаясь, пока его кто-то вновь окликнет, подвинув повисшего на дверном косяке Мишу, будто штору. Мальчик хихикнул, точно от щекотки. Сергей Александрович схватил в тяжком раздражении ведёрко с краской, кисть и вышел через заднюю дверь докрашивать калитку. Уже за покраской, которая весьма его успокаивала, он подумал вдруг о Пал Палыче Ресницыне, друге его детства, зависть к которому у него в последнее время просыпалась всё чаще, вскоре сменяясь каким-то воодушевлением от профессиональных успехов друга, но и это длилось недолго и воодушевление снова переходило в зависть.

— У него работа — сказка, настоящая сказка, — бурчал себе под нос Сергей Александрович. — А у меня что? А когда-то вместе на копильне-то батрачили. Ах, чёртово наше время. Всё ведь было, и ничего не стало. Павлуша-то наш всегда: и тогда, и нынче — на высоте. Пишет себе и счастлив. А всё-таки молодец, сукин сын! Молодец! Его — не то, что нас. Уважают. Он до рождения сестры был один-единёшенек в семье, а мы ведь четверо детей да мама, а папаша где-то пропадают. Павлуша у нас копает! Копает истину-то,

а Серёжа-то нонче небо коптит, — он горько усмехнулся, с надрывом, со злобой и стал наносить краску с каким-то отрёшнённым остервенением. — Коптит, а ведь буквально-то коптит. Колбаски там, куриные окорочка — всё, что можно коптить. Вот ведь ирония, Серёжа! Крючками — да на дымок, да ещё и суспензией ентной сверху для пушей эффективности — вот это жизнь, да? Да! Зато ведь и всегда есть что поесть в семье, — тут Сергей Александрович остановился, макнул кисть в краску и продолжил: — Али не кормилец? А тогда объясни мне, ежели кормилец ты, отчего в семье твоей тебя ни во что не ставят? Они что же это, привыкли все к тебе, али ты сам себя как-то особенно поставил, что тебя не уважать можно? Вот ведь какая занятность-то: чем, спрашивается, Павлуша наш заслужил? Отчего это он, учась со мной в одном классе, да ещё и на такие же отметки, как и я, поступил на журфак, а я в коллегия? Где та принципиальная разница меж нами, которая ему позволила сдать экзамены, а мне — нет? Я ведь так до сих пор ничего и не знаю. Нет, ну решительно отказываюсь понимать это! И даже если покажут мне... выложат передо мной эти вот самые различия, я всё равно закричу: «Обман!» Потом кулаком по столу ещё и стукну! Двумя кулаками! Чтобы видели, что я не простак какой-нибудь! Хотя нет, двумя кулаками — это уже шибко по-мужицки, недостойно это разоблачителя. Одним кулаком можно будет и отделаться. И ещё добавлю: «Просто везёт этому сукиному сыну! Билет он вытянул удачный! Вот

именно. На экзамене — удачный билет. А мне досталась какая-то тёмная, непростительная диалектика!»

Слово «диалектика» Сергей Александрович произнёс с особенным отвращением, и ещё долго оно, сказанное в полтона, звенело в его ушах и бесконечно повторялось, так что собственный голос стал ему невыносим. Вдруг Багусник встал, бросил кисть в траву со всего маху. Та разбрызгала краску. Синие капли контрастно заблестели на его коричневых туфлях.

— А в общем, — продолжал думать он, — полно тебе, Сергей Александрович! Это сколько же лет-то прошло? Восемнадцать уже? Девятнадцать? Господи прости, да ведь это уже полжизни моей! Каждый раз удивляюсь, как будто проснулся только что, — он сел и стёр краску со своих туфель листом девясила. — А ведь Пал Палыч не дурак был всегда, — выдохнул Сергей Александрович, нахмутив брови, — это ты дурак-то. Ты. Что бьёшься над несбывшимся, что завидуешь — дурак!

Он затих и, как-то немного даже присмирив, продолжил покраску.

«Зря виделся с ним месяц назад, — уже мысленно добавил он. — Зачем вообще эти встречи с одноклассниками нужны? А впрочем, и ладно уж».

Сергей Александрович красил и думал, какую бы ещё фразу себе мысленно добавить, чтобы примириться с собой и успокоиться, но фраза не приходила, и он снова оставил

всё как есть. Раздражительно фыркнул, вздохнул.

— А своим я ещё покажу, — пробурчал он наконец под нос, хотя и не домысливая, что, как и при каких обстоятельствах он «покажет своим». Здесь важна была сама интенция, порыв и некое обнадеживающее самому себе обещание, заключённое в слове «покажу».

5-е число

Павел Павлович Ресницын

Заметка Павла Павловича от 5 числа июля месяца

Поскольку я уж начал о суете, то, пожалуй, и продолжать стоит, иначе первая заметка останется суетливой, и такой тавтологии я допустить не смею и не желаю. Вот что я заметил в отношении суеты на этот раз.

Фридрих Ницше указывает, что человек пустой внутри, точно идол, точно чугунный горшок. Стало быть, можно и полезно чем-то заполниться, и притом чем-то вполне определённым, чтобы у этого чего-то не только ощущался вес, но и содержимое оправдывало его стенки. В суете получается, что человек берётся за одно дело, но, не довершив его, вынужден браться за другое, за третье, за четвёртое. Ни одно дело не сделано, но человек вроде как совершенно при делах, занят. Мечется туда и сюда, уже не в состоянии закончить какого-либо дела. И он заполнен суетой. Она как некий жизненный сор, наполняющий чугунный горшок... или ка-

кая иная полость, заброшенная всякими отходами. И пусть дело не сделано решительно ни одно, всё же человек уже не пустой.

Неупорядоченность. Чувство неупорядоченности. «И то, и сё ему надо», — так говорят о суетливости. Но всё это не определение, а скорее, лишь описание последствий суеты. Другая отнюдь не полезная сторона суеты — скука (настаиваю, что это сторона именно суеты). Или ещё можно иначе сказать: скука беременна суетой...

Скучность фильма или книги есть никак не свойство этого фильма или книги, а есть неупорядоченность и свойство человека, смотрящего этот фильм или читающего эту книгу. Вот, допустим, есть такие песни с повторяющимися припевами. Например, новомодная:

*Я любила вас без памяти.
Вы грозились мне, крича,
Повеситься на скатерти.
Ранили вы без ножа.*

Поётся деланно-утомлённым женским голосом и по несколько раз. Сначала скучно, а потом невыносимо душно. Глупейшие словечки: память, скатерть! А ритм где?! Называется, «что вижу — то пою». Впрочем, пример не из удачных.

Ладно, другой пример: «Реквием» Моцарта. Сестра моя

обожает эту мелодию и понеделньо просит ставить её в магнитофон. Я же никак не пойму: ну как этакая тягомотина может цеплять какие-то глубокие и чистейшие чувства. Право слово, у меня на эту песню (ну а что это, если не песня, — там же поют!), на эту песню у меня рот от нескончаемой зевоты так и не закрывается.

Если бы кто-то посадил меня в комнате с этой вот музыкой, я бы так и уснул, и сон мой был бы тяжёл, тревожен и суетен. Тогда как Моцарта в целом я вполне сношу, и даже есть любимые вещи. Но «Реквием»...

И вот, вопреки моей личной неприязни, я постараюсь сейчас увидеть причины скуки во мне самом. Я даже полагаю, что моя сестра месяц или два после похорон матери нашей нашла в этой мелодии некое утешение, я же занимал ум свой единственно мыслью, как бы не обеднеть. Лишь по вечерам становилось действительно невозможно что-либо делать — боль наваливалась на меня тяжестью неба. Ах, как тяжело казалось небо! Есть и такая скука — тоскливая, когда не способен что-либо делать и маешься без устали. И в те дни этот «Реквием» столько раз играл в нашем доме, что постепенно стал вызывать во мне некое отрицание и, как следствие, скуку.

Но это что касается скуки в отношении предмета, человеку знакомого. Положим, и другой пример. Человеку нечем заняться. «Ах, что делали люди раньше, да без телевизора, и так ведь скука смертная!», — говорим мы иной раз. Ключо-

чевое здесь не то, что скучно вокруг, а что именно *человеку* скучно, то есть именно он не знает, чем себя занять. То есть это не вокруг скучно, а он сам скучный, раз ему развлечься нечем. Значит, у него есть с чем сравнивать, и он знает, когда не скучно. И «не скучно» для него что-то не схожее с тем, что сейчас. Ну, трезвым скучно с пьяными, а пьяным — с трезвыми. Кому-то скучно с какими-то конкретными людьми, кому-то скучно в одиночестве. То есть скука — это всегда явление относительное.

А суета тут — как раз способ эту скуку развеять, незнание, куда себя деть, нежелание вовлекаться в то, что вокруг...

В общем, сиделся писать я сегодня эту вот заметку с твёрдой решимостью выразить мысли, да только примеры всё какие-то неудачные. Не то всё. На том сегодня и закончу, чтобы ещё дальше, чем сейчас, не увести мысль мою от главной линии. Трудно. Трудно о суете писать. О скуке — и подавно.

Перечитал сейчас всё, что написал, и вижу, что суетливо пишу о суете. Вот так.

Существенным здесь остаётся лишь то, что скуку и суету нужно скорее осознавать, иначе всё пропало.

У нас — дискуссия

На следующий же день мне на работу позвонил мой вчерашний знакомый, Андрей Тимофеевич.

— Вы меня сердечно простите, Павел Палыч, был я вчера,

по правде сказать... и многого не помню. Только как вы мою идею в фильме узрели по-настоящему. То есть ровно то, что я хотел фильмом сказать, и даже более, — говорил парень с неким беспокойством и смутной радостью в голосе. — За то вам непременно и благодарность приношу. Много вы сказали сильного. И за тактичность вашу спасибо... — Парень порядочно недоговаривал, но было ясно, что именно: он стыдился своего вчерашнего пьяного поведения, но при этом не желал отступаться от своего шанса, ведь я мог бы действительно несколько поспособствовать его продвижению на поприще кинотворчества.

И я с весёлостью, которая посетила меня ещё вчера за разговором с ним, принялся успокаивать его:

— Ну да я сказал не более, чем увидел, и я решительно возражаю против того, чтобы вы воспринимали это как комплимент. Я не хотел вас хвалить чрезмерно, да и смотрел не слишком внимательно. Впрочем, и хорошо, что вы теперь мне позвонили. Про ваш фильм я напишу. Пока не знаю куда, но напишу. В столице ищут таланты. Тут ваш фильм как раз кстати. Или в местную рубрику, ведь по области в основном снимают короткометражки, а у вас большая лента, это преимущество. Ваш коллега год тому попал в наш журнал со своим фильмом. Русаков — его фамилия. Инициалов не упомяну. Фильм его был про велосипедистов. Такой, полудокументальный. Я на него тоже рецензию писал.

— Это Русаков-то, Петя? — узнал Андрей Тимофеевич.

— Да он же непременно с нами! В нашей компании то есть. Послушайте, а приходите сегодня к нам в «Приморский» салон! Мы там всей компанией как раз сегодня собираемся, в овальной комнате. Там-то и расскажете о вашем впечатлении относительно моего фильма. Очень вас приглашаю... Приглашаем! Мы вас не удержим, если вы уйти захотите. Так, познакомимся поближе. У нас много талантливых ребят, горящих идеей кинотворчества. Так сказать, и вам польза, и нам. Вечером сегодня, в семь! Там-то и обсудимте, будете рецензию писать или нет.

Я уточнил адрес салона и поблагодарил за приглашение.

— Так вы придёте? О, непременно придите, Павел Палыч, непременно приходите! Будет о чём поговорить. Мы люди не скучные. Не кружок садоводов. У нас дискуссия! — слово «дискуссия» молодой человек произнёс с сильным нажимом на звуки «д» и «с». — Непременно! Не кружок садоводов! Мы обсуждаем, иногда и горячо обсуждаем, с жаром и на своём настаивая, но, уверяю вас, не без уважения, не без подлинного почитания собеседника своего. Много, много талантливейших... и при том непременно вспомним «Су-ету» -то, фильм мой. Пару слов от вас, пару слов-то, пусть даже и не тех, что вы мне намедни говорили, но от вас лично — будет...

— Я вас понял, — остановил я взволнованного парня, — как вы говорите, «непременно» сообщу о вашем фильме свои размышления. До встречи.

— Конечно, будем ждать. Такой ведь гость — и у нас. Рад чрезвычайно знакомству с вами, Павел Палыч, — в голосе парня изменился тон, будто бы он осознал, что начал лебезить передо мной, и осёкся, стал говорить уже более сдержанно, объясняясь за то, почему именно он рад. — Ведь такой совершенно случайный шанс... Вы случайно фильм посмотрели... В общем, не смею больше задерживать вас. Приходите.

— До встречи и вам.

— До свидания сегодня!

Владимир Радомирович Пшеницын

**Заметка о Крошке Еноте из сказки
и Нарциссе, сделанная в блокноте
преподавателем философии в
университете, кандидатом философских
наук Владимиром Радомировичем
Пшеницыным при тусклом свете
ночника купе поезда в ночь перед
прибытием в Петрозалив, где
он планировал провести отпуск,
разместившись в местном доме
отдыха «Берёзовый сок» на
территории заповедника озера Плевел**

Разрабатывая и обмысливая идеи Междубытия, или «Между-бытия», я столкнулся с рядом вопросов, попытку ответа на один из которых я и предприму тотчас же. Вопрос тот не слишком простой: «в чём природа настоящего, природа настоящности меня самого, то есть „Я“ человека»?

карандашом на полях вопросы уходят корнями через

Ницше с его тремя вопросами в др. Грецию: что такое вещь? Как к ней относиться? Ещё 1 вопрос. Кошмар! Не помню совершенно ничего! Где искать?

Древняя легенда рассказывает о некоем Нарциссе, который повстречался со своим отражением, влюбился в него, да так и превратился в цветок у воды. Итак, Нарцисс узрел себя в зеркальной глади воды и влюбился в самого себя. Кроме того, раз он так и превратился в цветок, то действительно ничего не мог с этим поделать. Но в себя ли он влюбился? В настоящего ли себя? Тут уж сразу спешу привести пример иной. Пример енота из сказки, который, допустим, узрел себя и в ужасе убежал. Себя ли он увидел? В этих, казалось бы, радикально разнящихся примерах при определённом свете проглядывает одинаковая природа. И там и там персонажи чего-то не смогли преодолеть, вынести.

По порядку. Нарцисс увидел своё отражение и полюбил себя. Себя же, как я утверждаю, можно полюбить исключительно безответно, поскольку отражение, как ни крути, не обладает собственной активностью. Оно дублирует движения оригинала. И что бы мы ни делали, оно не предпримет совершенно никаких действий, если мы того не захотим. Отложим в сторону случаи натурального сумасшествия, когда человеку кажется то, чего нет.

М. М. Бахтин одним из первых подробно исследовал диалогическую природу сознания. Всё так, внутренний диалог имеет место, однако, что неоднократно Бахтиным же и отме-

чалось (или после него, не помню точно), несмотря на диалогичность сознания, я всё равно чувствую свою целостность, неразстворённость в мире, противопоставленность ему. А раз уж целостность, то и неминуемо — неразделённость себя от самого себя. А особенно — противопоставленность миру. Почему люди ропщут на угнетение своё в определённых ситуациях? Единственно потому, что угнетатель своей противопоставленностью миру давит противопоставленность угнетаемого. А я, допустим, угнетаемый, не хочу растворяться в мире! Я хочу миру противостоять, но не в смысле «воевать» с миром, а в смысле своей сознательности, понимания, что есть «я», а есть «мир», в котором я. *Staying against*. Не «*versus*» — потому что в «*versus*» есть что-то агрессивное, а «*against the world*». «Я» существует только в таком противопоставлении. И потому, когда начальник давит меня, заставляет делать то, к чему я не предрасположен сам, моё противопоставление страдает, я становлюсь частью мира, как неразумный, как пассивный объект, но принять свою растворённую долю не хочу, а значит, страдаю я.

Поэтому Нарцисс и не может любить себя ответно, потому что в отражении нет полновесного Другого. Отношение к себе как к другому человеку, то есть как бы со стороны, невозможно. И посему влюбиться, страстно влюбиться в себя, как Нарцисс, возможно лишь безнадёжно неразделённо. Я целостен, несмотря на все мои возможные внутренние диалогические противоречивые позиции, я — целостный организм,

неразделённый, потому и любовь к себе — неразделённая. Себя можно ценить, с собой можно говорить, любить взаимно — нет. Но это и не та любовь, как, к примеру, любовь к какой-то мелодии или к блюду. Мелодия тоже сама по себе не активна. Собственную активность может иметь только другое сознание, а если быть точным — другое самосознание. Ведь наличие самосознания и является критерием того, отличит существо себя от мира или нет, а значит, и противопоставит оно себя миру или нет. А Нарцисс глядит в отражение, отдаёт всю свою активность в этот взгляд, а ответной активности нет. Потому он и не шевелится, не может наглядеться, не выносит в итоге того, что любовь безответна, и единственное, как он после этого может дальше жить — это превратиться в цветок.

Если всю эту историю перенести из мира метафор в наш реальный мир, мы можем встретить порой самовлюблённых людей, которые при том страдают, мучаются, оттого, что их никто не может понять, поскольку они единственно только себя и понимают (или думают, что понимают), да так, что не способны понять другого. Нарциссы не видят других в полноценном варианте. Они видят лишь тени и рябь на воде, произведённые другими. Кого же видит Нарцисс? Себя? Да нет же, себя нельзя увидеть, как указывает Бахтин: «Фальшь и ложь, неизбежно проглядывающие в отношениях с самим собой. Внешний образ чувства, <...> мысли, <...> души»¹.

¹ Бахтин М. М. — заметка «Человек у зеркала»

Вот и выходит, что и другого не видит, и самого себя. Во что же тогда он влюбляется? В этот самый внешний образ. Так, по крайней мере, скорее всего. Иного пока не могу предположить.

Но оставим пока Нарцисса и перейдём к другому примеру — крошки Енота из сказки Муура, мудрейшей сказки. Енот испугался своего отображения в воде. Как и он, оно корчило ему различные злые рожицы да грозило палкой. Но даже когда енот улыбнулся отражению и примирился с ним («От улыбки станет мир светлей...»), он всё равно не узнал в нём себя, а значит, не выказал никакого самосознательного опыта. Он растворён в мире и остался растворён. Как писал К. Маркс, животное тождественно своей жизнедеятельности, оно действует, но не знает, что эти действия и их последствия единственно результат его же активности.

Так ведь и этот енот — он тоже себя не узрел по-настоящему. Он увидел некоего монстра — злого, опасного и непременно ему угрожающего. Не видение себя роднит его с Нарциссом. Енот тоже не вынес ощущения этого присутствия и бросился наутёк. Он смог вынести только присутствие доброжелательное, когда улыбнулся отражению («Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся...») — мультфильм по сказке учит, что мир отражает нам же наши действия, почти как зеркало). Что нужно было делать Нарциссу, чтобы вынести то, что видел и чувствовал в себе, — эту вредную, останавливающую всякое развитие любовь

к себе. Подумать! Подумать, что его «Я» всё-таки не единственное «Я» в мире, противопоставить не себя — себе, а себя — миру. Ведь он сам и был для себя всем миром. И что чудовищно мучительно. Но Нарцисс есть Нарцисс.

Здесь я перехожу к самой попытке ответить на вопрос о том, где же во всём моём акте смотрения в зеркало я сам, настоящий, который явлен и миру людей, какой он есть. И как узреть себя настоящего? И вот мои выводы на этот счёт. К примеру, спросил я что-то, глядя себе в глаза, и ответил себе же. И вот «Я» настоящее виднеется ярко и отчётливо в какие-нибудь ничтожные доли секунды, в одно-единственное мгновение между вопросом и ответом, и оно видно не в вопросе и ответе. Настоящий я — не тот, который спросил, не тот, кто ответил или подумал, что ответить. Настоящий я — тот, кто слушает вопрос и осознаёт его. Стоило себя спросить и Нарциссу, и крошке Еноту. И людям наподобие них. Я уж не говорю, что вопрос должен быть точным и проч.

Возможно, всё это слишком идеально, но я убеждаюсь в этом год от года всё сильнее. Я вижу себя настоящим — тем, кто слушает и слышит свой вопрос. Это та самая пресловутая мысль о мысли. Однако только так, по моему убеждению, можно увидеть так называемого «истинного» себя, без социального налёта, почти без иллюзий и прочая, и прочая. Это как раз и есть фрагмент вечно ускользающего Между-бытия, бытия между вещами, явлениями, людьми, феноменами. И замочных скважин, через которые можно на долю секунды

увидеть это Между-бытие, не так уж и много. Явления скрыты от нас, они в полной мере нам практически недоступны, мы сами скрыты от нас же. Свой хвост можно узреть только в такие моменты.

на полях другой, полупишущей, ручкой важно! В книгу! Но подумай дважды и после — произв. ред.

Прибытие в Петрозалив

Когда Владимир Радомирович сошёл с поезда, держа в руке чемодан, в Петрозаливе стояла пасмурная погода и собирался дождь. Некоторое время Пшеницын, отойдя к небольшому фонтанчику у входа в здание вокзала, стоял и неспешно ориентировался. Лицо его с острым взглядом, живой мимикой, но с какой-то жизненной усталостью в чертах обращалось то в одну сторону, то в другую и говорило о нём как о человеке задумчивом, хотя и не чурающемся поделиться своей задумчивостью. И поделиться не высокомерно, а естественно и легко. Он выглядел примерно на сорок, хотя ему шёл лишь двадцать девятый год, но это казалось не по внешним признакам старения, коих пока не намечалось, а по всей его фигуре. Верны были его мысли или ложны, а именно их обилие в его голове прибавляло и всему облику его лет десять.

Сориентировавшись наконец, он двинулся к автобусной остановке. Заморосило.

Но следует, однако, остановиться и коротко рассказать о Пшеницыне, что необходимо для полноценного ввода его на сцену. Итак, в Петрозаливе он оказался впервые, поскольку ему со значительной скидкой в профессиональном комитете преподавателей университета предоставили путёвку в здешний пансионате на территории заповедника. Так что выбор места отдыха определился случаем. Он уехал на время в Петрозалив из своего города прочь от проблем, так как в его бракоразводной тяжбе наступило временное затишье, жена отправила дочку в детский лагерь. В душном городе, к тому же в отпуске, Пшеницыну стало решительно невмоготу. И тут весьма удачно подвернулась возможность несколько сменить обстановку, подумать и отдохнуть. Ведь действительно, как мы знаем, для большинства людей самый эффективный отдых — «не там, где всегда», в другом месте.

Владимир Радомирович ехал в троллейбусе и был доволен, насколько он мог быть доволен в своей вечной усталости от людей в целом и, в частности, от всяческих назиданий жены. Он уже рисовал себе особое телесное и духовное состояние комфорта от возлежания в ванной на гидропроцедурах или от релаксационной комнаты с люстрой Чижевского.

После бесконечного леса и проводов за окном поезда теперь он усталым взглядом скользил по проезжающим мимо домам через стекло троллейбуса, на котором дребезжали капельки дождя. Дома были преимущественно хрущёвки и брежневки, но попадались старые и даже старинные. Чаше

серые и потрескавшиеся, но встречались и ухоженные. Где-то на середине пути он заметил вдалеке на холме, за грядой пятиэтажек, несколько высоток, подобных по архитектуре столичным, но всё же что-то провинциальное сквозило в их виде. Вскоре высотки остались позади, стало попадаться больше домов частных и больше деревьев. Троллейбус преодолел мост, под которым плескались воды небольшой реки, а за мостом через некоторое время показали полуразвалившиеся кирпичные столбики и решётка забора, поверх которой растягивалась металлическая сетка. Тем забором отграничивался от внешнего мира небольшой заповедник. Пшеницын вышел на остановке как раз напротив въезда.

* * *

После того как Владимир Радомирович вымылся в душе своего номера, он сел на одну из двух одноместных кроватей и стал разглядывать туристический путеводитель по городу. Кровать, стоявшая у противоположной стены, тоже пустовала. Чувствовалось, несмотря на проведённую перед заселением Пшеницына уборку, что кто-то пару часов тому съехал. Чувствовалось недавнее чьё-то присутствие, но он не смог бы объяснить, в чём это выражается. Впрочем, ничего удивительного. В доме отдыха постоянно так: кто-то приезжает, кто-то выезжает.

Номера в этом старом пансионате оказались какими-то вертикальными, поскольку площадь комнаты вмещала разве что две кровати, две тумбочки и письменный стол со стулом, но при этом потолок — сводчатый, с закруглёнными углами — уходил почти что во тьму, тускло желтея оттуда старой побелкой. Стены холодно зеленели от краски, пол устилался тёмным и полустёртым паркетом. Вопреки тому что обычно бывает с такими помещениями, ничего нигде не было ни отколото, ни треснуто.

Пахло старой ДСП, деревом паркета и мокрым песком. Из форточки доносились запахи лета. Все обонятельные ощущения смешивались в мозгу Пшеницына и создавали некую особенную композицию, насыщенный букет, прочнейшим образом связующий его душу со старым домом, в котором они жили вместе с родителями жены, пока дочери не исполнилось три года. Позже появилась возможность переехать, молодая семья ею воспользовалась. То было четыре года до настоящих событий, но дом и его запахи, звуки, произошедшие там события и доньше жили в сознании Владимира Радомировича вне времени и пространства. Запахи, звуки могли всплывать независимо от давности. Они всё так же слышались и теперь, как живые. С годами воспоминания о запахах становились богаче и загадочнее, подобно вину, и в зависимости от того, с каким «блюдом», с каким состоянием Владимира Радомировича они сочетались, впечатления от запахов менялись. Сейчас, к примеру, запах номера в пан-

сионате в сочетании с переживаниями от процесса супружеского развода давали умеренный привкус ностальгии, тянувшей сердце его, но всё же не рвущей.

Некоторые жесты домашних чаще тоже будто запечатлелись раз и навсегда и лишь проигрывались с разным вкусом. А вот целые события, их участники, а также черты их лиц, окружающие предметы и прочее со временем незаметно, но существенно менялись. Наверное, что-то забывалось, что-то добавлялось вместо пустоты забытого, что-то менялось местами, усиливалось или ослаблялось, к тому же порой в этих событиях будто бы менялось освещение. Но главное — менялось отношение к ним и к людям под действием переживаний, которые созвучны слову «жевать», и это созвучие здесь совершенно не случайно.

Что же до отношений Пшеницына с женой, то и сам Пшеницын не смог бы сказать теперь, что сдетонировало надлом и кто был инициатором. Владимир Радомирович убеждал себя, что это не так уж важно. А важно, что сложилось дело именно таким образом, и поменять что-либо в прошлом уже невозможно, а раз так, то и нечего думать о причинах. В такие мысли он и отлетал порою, когда вспоминал фрагменты былых дней и когда их вкус ощущался несколько иначе. Впрочем, всё это он способен был ощущать как бы фоном, и мысли его об этом шли фоном.

И хотя не слишком внимательно, он всё-таки рассматривал путеводитель. В нём он отметил несколько достопри-

мечательностей, которые можно будет посетить, чтобы набраться новых впечатлений, да и попросту развеять в себе тоскливое настроение, которое теперь обещало Пшеницыну навещать к нему чаще.

* * *

На ужине Владимир Радомирович оказался за одним столом с пожилой чистенькой парой, состоящей из лысого усатого старичка и курчавоволосой бабули. По всему несколько холёному виду можно было сказать, что жили они безбедно. И теперь на пенсии ни в чём особенном не нуждались. Такие пары наши соотечественники тех времён привыкли видеть преимущественно в новостной телепередаче, в некоторых репортажах которой показывали Европу. Однако, как видно, такие старички водились и у нас.

В целом половина столовой состояла из людей немолодых, пенсионеров, впрочем, присутствовали и люди молодые, семейные и с детьми. Четвёртый стул за столом оставался свободным.

«Как же это замечательно, — подумал Владимир Радомирович, — мало того, что сегодня по прибытии мне так взгрустнулось, так ведь теперь и со стариками... хотя, может быть, оно и на пользу... но ладно, пора оставить мысли о жене». Он начинал осознавать, что впадает в уныние.

— Добрый вечер, — поприветствовал он пару и пожал лы-

сому мужчине руку. — Я Владимир Радомирович.

Мужчина жевал, а когда закончил, хрипло произнёс:

— Это вы новый сосед по столу! Я — Семён Владленович, это — моя жена Клара Тимофеевна.

— До вас тут сидели две женщины, — сказала Клара Тимофеевна. — Одна была смешлива, пожалуй, чересчур, а другая на неё поминутно шипела, чтобы та замолчала, и на этот счёт они часто ругались... Тут вполне сносные супы.

— Спасибо, сейчас попробую.

Они принялись за трапезу. Владимиру хотелось помолчать, привыкнуть к обстановке и утолить голод, однако пара оказалась довольно разговорчивой.

— А вы здесь, верно, по путёвке? — заговорил Семён Владленович. — Мы тут уже две недели, и за это время много с чем в городе ознакомились. На смотровой были. Обязательно ходите на смотровую площадку, откуда видно всё до самого горизонта и, кажется, дальше. Очень красиво.

— Сёма, а в соборе-то!.. В соборе-то как красиво, — вмешалась Клара Тимофеевна с едва заметной улыбкой, какая бывает у людей, тайно гордящихся каким-то своим достижением. — В Музыкальный Дом ходили, слушали. Там как раз фестиваль проходил. Но вы можете и без фестиваля пожаловать. Там всегда концерты. Памятник Петру I на площади восхитительный. Он там величественный такой, мужественный, хотя, может быть, и не вполне натурально изображённый, но, по крайней мере, видно — вот он, царь! Вот он,

император! И на набережной ещё памятник ему поставлен. Только там он разительно противоположен площадному памятнику, даже и ростом, наверное, поменьше, чем был, — раза в полтора. В море смотрит взглядом хищничка. Именно хищничка, поскольку не величественный он там. Как сыч какой смотрит. Кстати, там же на набережной, только в конце её, стоит дом красивейшей архитектуры...

— Да ну, не красивейшей, что ты! — перебил жену Семён Владленович. — Мрачноватой такой архитектуры. Сам дом — тёмненький, да твари какие-то под крышей, вроде летучих мышей, но с рожами как у чертей. Гаргульи!

— Мрачновато, да, — вмешалась Клара Тимофеевна, — но это же готический дом! Таких в союзе раз, ну, может быть, два — и всё. Мрачность дома — чисто стилистическая. Ты что, плохо экскурсовода слушал? Ах, ну верно же, тебе жарко было и не до гаргулий вовсе. Ворчун ты. А стариком стал и вовсе порой решительно невыносимым! — Клара Тимофеевна энергически и раздражённо принялась распиливать тупым ножом котлету.

— Не обращайтесь внимания, Владимир... — он тыкал вилок в сторону Пшеницына и вдруг замолчал, вероятно, вспоминая его отчество, но не вспомнил, и продолжил: — Вова. Ведь ты такой молодой совсем парень. Ничего, если мы к тебе на «ты»? Это мы уже старые, нам можно. Ну вот, и этот мрачный дом на самом деле с привидениями и... это публичный дом. Публичный дом с привидениями. — Он сделал

страшные глаза, а потом и рассмеялся, широко улыбаясь.

— Сёма, что ты несёшь! Вова, не слушайте старого. В этот дом не так давно, может быть, неделю тому, приехал его хозяин, по слухам статный господин, но... — Женщина понизила тон и как-то театрально наклонилась чуть ближе к Пшеницыну. Пшеницын тоже будто по какому-то рефлексу подался вперёд. Вероятно, заговоры — это что-то общечеловеческое. — Мне горничная шепнула, что с ним... у него живёт дюжина девушек, и они ему не родня и не служанки. Горничная-то отсюда, с пансионата, но пыталась устроиться к тому господину то ли экономкой, то ли прислугой, то ли ещё кем-то. — Клара Тимофеевна выпрямилась, стала говорить как обычно, выпрямился и Владимир. — Право, она не устроилась, но кое-что узнала. Что это за девушки такие? Ещё говорят, что все они из чукчей.

— Кто? — спросил евший, но и внимательно слушавший Пшеницын.

— Девушки — чукчи! Что это за господин-то такой, скажите, пожалуйста! — И Клара Тимофеевна, точно школьница, закрыла рот рукой и стыдливо, как-то с надрывом захихикала.

Семён Владленович, увлечённый едой на протяжении всего монолога жены, вдруг вмешался:

— Тьфу! Тебе лапши навешали, а ты уже уши-то и развесить готова пошире. Хочешь ерунде всякой верить, так уж всяко лучше сразу заявить, что это публичный дом. Уж это-

то, во всяком случае, занятнее. Особенно если с привидениями.

— Семён, я сама слышала эти рассказы от разных людей. Девушек — дюжина, все — чукчи, — повторила она, словно убеждая саму себя. — Что если ещё и похлеще публичного дома. Вот что вы об этом думаете? — обратилась она к Пшеницыну.

«Я думаю, что в любом случае это дело не наше, а того господина», — хотел было ответить он, но рассудил, что так он может обидеть Клару Тимофевну, дескать, она лезет не в своё дело, несмотря на то что, в сущности, так оно и было.

— Я думаю, это вообще всё выдумка. Ловушка для туристов, — сказал Семён Владленович и отхлебнул компот.

— А я не тебя спрашиваю. Да и вообще, при чём здесь туристы? Мы ведь это не от экскурсовода узнали, — ответила Клара Тимофевна.

— Я думаю, что в случае, если всё это правда, то должно быть какое-то логическое объяснение, — ответил наконец Владимир Радомирович с некоторой игривостью в глазах. — Что же касается вышеупомянутого человека, то он, верно, просто любитель экзотики.

Семён Владленович в голос засмеялся, оценив незатейливую шутку Пшеницына. Кажется, теперь в заговоре были они вдвоём. Клара Тимофевна, поняв, что оказалась за бортом со своими лишь догадками, захихикала, на этот раз уже прикрывшись не ладонью, а запястьем. Её глаза заблестели.

Всё это была какая-то дурацкая игра. Сам же Пшеницын тотчас же признался себе в том, что покривил душой, отпустил шутку довольно несмешную и что тем самым вступил в эту странную игру.

— Вернее, я хотел сказать, — продолжил Владимир Радомирович, когда все отсмеялись, — что это дело сугубо этого джентльмена и его девушек. Кем бы девушки ни явились на самом деле, это только их дело. Я нисколько не хочу сказать при этом, что мы не имеем права любопытствовать. В наше разнообразное время любопытствовать не запрещается.

— Совершенно согласна! Мы можем обсуждать, Вова, — заметила Клара Тимофевна. Её муж промолчал, а она продолжила: — А я, более того, ещё и уверена, что те чукотские девочки все с той самой трассы! Трасса-то длинная...

— Вы хотите сказать всё-таки, — хмуро поморщился Владимир Радомирович, — что поддерживаете гипотезу мужа?

— Да, да! — закивала Клара Тимофевна, снова став игривой заговорщицей. — А как же иначе? Где бы господин заработал на покупку исторического дома? Исключительно с трассы!

— Дорогая, полно уже тебе! Противно! Не хочу даже и разговаривать с тобой, — взбунтовался Семён Владленович. — Да, пошутил я. А за правду ты приняла, сплетница. Противно!

— Помилуй, Семён! — отозвалась жена. — Что же тут, право, такого противного? Ты, с позволения сказать, и сам

любишь всякого рода сальности, пусть даже это у тебя и по возрасту...

— Так зачем ты всё это тотчас молодому человеку рассказываешь?.. Да ещё и как истину выдаёшь.

Теперь в заговоре участвовали муж и жена. Пшеницын даже отчего-то зарделся, но быстро оправился и вставил своё слово:

— Нет-нет! Ну что вы, Семён Владленович, это же всё и правда только шутки. Я же всё это понимаю. Не злитесь. А история эта, пожалуй, интересная. Хотя и не наше дело, но любопытство ведь. Так что всё в порядке.

— А я вам скажу, — снова вскинулся Семён Владленович, — вся эта история, повторяю, выдумка! Просто кормушка, — он обратился к жене, — для таких, как ты! Какая-то перепуганная горничная (видел я её, нервная такая особа) услышала где-то что-то... и присочинила развлечения ради. И всё! Что тут думать-то? Выдумка. И не более.

— И это тоже может быть, — кивнул Владимир Радомирович.

— И всё равно ведь интересно, не так ли? — Клара Тимофевна допила компот. — К тому же мне кажется, чисто интуитивно, что это — самая что ни на есть правда. Потому как слышала я её не только от горничной. В общем, спасибо вам, Вова, за поддержку и беседу. — Она улыбнулась и встала. Встал и закончивший трапезу её муж.

— До встречи, — учтиво произнесла она, глядя Пшени-

цыну в глаза.

Тот кивнул им в ответ.

Супруги ушли. Уже на выходе Семён Владленович продолжил спор с женой: «Нет, но ведь совершенно порой с тобою невозможно...»

Владимир Радомирович заканчивал ужин и разглядывал столовую, пребывая в особо сытом и ни к чему не обязывающем состоянии духа. Тем не менее пред его мысленным взором то и дело стал всплывать господин и дюжина его чукотских девушек. Господин представлялся с тросточкой из слоновой кости, а девушки одетыми в оленьи шкуры. Как на большом семейном портрете, господин сидел во фраке в креслах, а позади полукруглым пятном шкур и улыбчивых лиц его окружали девушки. Пшеницын улыбался своим мыслям. И в этот самый момент, когда он был доволен, расслаблен и предавался усыпляющим фантазиям, какие приходят исключительно для разминки воображения и успокоения, что-то больно предательски вонзилось ему в сердце. То был образ жены, утверждающей, что она, дескать, не оставит с ним, с Пшеницыным, дочь. Владимир Радомирович перевёл дух, отнёс посуду на подносе в мойку и на выходе из столовой поймал свой взгляд в зеркале. Во взгляде виделся укор.

Подобным взглядом Пшеницын невольно смирял себя с тех пор, как жена заявила о желании развестись.

Павел Павлович Ресницын

Его карандашные записки на полях «Дон Кихота» Сервантеса

Так ведь мы тоже думаем, что сражаемся с великанами. И лучше бы нам не знать, что великана нет, если мы хотим остаться героями. А если хотим быть здоровыми и трезвыми... В общем, извечное столкновение с выбором: быть героем или быть здравомыслящим. Иногда этого выбора мы не видим. Да и герой — это тот, кто не только для себя герой, и здравомыслие оценивается так же другими... То есть без других ничего не получится в любом случае! И здесь важна фигура Санчо Пансы... — промежуточная между миром Дона и миром внешним. Полупьяный-полутрезвый. Застраваивший между мирами.

Сестра рассказывает, как у неё дела

Когда я застёгивал пуговицы сорочки, собираясь пойти в салон, чтобы встретиться там, простите великодушно, с целым гнездовищем местных кинотворцов (какая удача! Я надеялся не ослепнуть от их блистательного величия), домой вернулась сестра.

— Добрый день! Как твои дела? — Сестра разувалась в прихожей.

— Добрый. Представляешь, милая моя Маша, иду сейчас к людям, которые снимают кино. Я не знаю степени их успешности на этом поприще, впрочем, думаю даже, что они неизвестны и почти бездарны. Но среди такой бездарности часто скрывается подлинный бриллиант. Он именно что скрывается, сидит себе, а моя задача — этот бриллиант увидеть. Ладно, признаться, иду я туда, не питая особых надежд, познакомиться только, — я надел лёгкий пиджак. — Поглядим. Пригласил меня один парень. Я тебе про него говорил давеча. Как у тебя?

— Виделась со своим научным руководителем. Руководительницей. Она как-то стала физически слаба, должно быть, болеет. Ну, это всё проходит... После ездила на побережье по гальке прогуляться с Варей. Немного не дошли до ржавого корабля, как встретили мужичка, вроде как рыбака. Зубов — полный рот, от уха до уха, весь какой-то поистертый, будто его не спеша по асфальту тащили. Глаза — угли, бегают всё, бегают. Волосы чёрные, взлохмаченные. Нос ещё такой кривоватый, на сторону слегка. Ростом даже немного ниже меня. Проходил мимо нас, остановился и смотрит. Улыбается как-то жестоко, будто знает, что пугает, и оттого радость испытывает. Варя с его стороны шла — так и вцепилась мне в руку пальцами. А мужичок молчит. Помолчав, говорит: «Вы, милые девушки, извините, если напугал, очень вы краси-

вые, — и всё так странно и страшно улыбается, жутко улыбается, и всё это сквозь зубы цедит! — Вы, — говорит, — ещё раз извините. Хотел вас предупредить. Там, дальше по берегу, гуляют буйно. Всю рыбу распугали. Не в стельку пьяные, но что-то не поделили. Не ходили бы вы туда. Компания из района приехала, а вы девушки благородные», — улыбается всё, молчит и смотрит. Варя вдруг как-то осмелела, хотя руки её задрожали пуще прежнего. Она с вызовом заговорила ему. С вызовом и даже с надрывом: «Молодой человек! А что вам, собственно, за дело-то?» И я ещё прибавила: «Может быть, мы как раз к ним-то и направляемся! Они навеселе, а мы как раз веселья ищем, может быть!» Мужичок громко усмехнулся, сплюнул на камни, сказал: «Может быть». Улыбка немного сошла с него, сделалась вполтину меньше, но от этого — не менее выразительная. Брови его! Какое-то злое веселье было во всей фигуре его! Мы испугались!

Я выслушал и обнял сестру. Она не плакала, но голос её дрогнул:

— Просто немного неприятно, — заключила она глухо, уткнувшись мне в плечо.

— Ну а зачем же вы там гуляете? В той стороне ведь набережной больше нет. Роща и галька. Да ещё этот корабль.

— Там доныне было спокойно. Волны набегали, шелестели. Знаешь, звук от гальки такой особенный... — она искала сравнение, а затем заговорила ещё торопливее и с дро-

жью в голосе: — Да, пожалуй, не с чем сравнить, ведь обычно с этим звуком и сравнивают, а не наоборот... вот, раковину к уху... там звук! И говорят: «Похоже на шелест волн о гальку». Но никто, пожалуй, не говорит наоборот. Услышав море, никто не говорит: «Хм, да это звучит в точности как раковина, приложенная к уху», — она издала короткий нервный смешок, — или и того вздорнее! Как раковину... — Маша разрыдалась. Я обнял её покрепче и стал поглаживать по спине. Её крик на секунду заполнил коридор, впитался в его стены и утих.

— И никого ведь кругом больше! — Она всхлипнула ещё несколько раз и затихла, уткнувшись мне в плечо.

Мы постояли так некоторое время. Какая-то мелкая бабочка два раза с тихим звоном ударилась о голую лампу накаливания.

— Так. — Она вздохнула, я отпустил её из объятий.

— Всё хорошо. Просто впредь будь осторожна, — сказал я ей и погладил её по волосам. — Не ходи туда.

— Так, — снова выдохнула она уже как-то со скукой и вытирая слёзы. — Какая глупость! Человек ведь, в сущности, не желал зла совершенно. И даже, впрочем, если бы и желал, то явно повёл бы себя по-другому. Тут он, кажется, всего лишь хотел предупредить нас, но его улыбка... всё равно объяснить я не могу.

Она стала положительно оправдывать поведение проходимца, вероятно, чтобы всё произошедшее не казалось неле-

пищей, чтобы объяснить его и забыть и чтобы создать в себе иллюзию, что та ситуация была полностью под её контролем.

— А что бы он сделал? — уже с вызовом, нахмутив брови, произнесла она. — С одной, допустим, и сделал бы, но когда нас двое... и потом, до улицы, кажется, совсем недалеко. Это ведь город ещё?

— И всё же я возражаю против того, чтобы ты туда ходила с кем бы то ни было, — я стал обуваться. — Думаю, до роши, пока город ещё виден, ходить можно.

— А ты почему не сходишь? — Мария обнимала сама себя за плечи, в фигуре её выражалась потребность в заботе и поддержке. Взгляд же был страшный: голова слегка запрокинута, карие радужки глаз почти целиком виднелись из под верхних век. Она вызывала меня к чему-то, хотела, возможно, показать мою несостоятельность, дескать, я, хрупкая девушка, способна там ходить и после портить свои нервишки из-за подозрительных встреч, подвергая себя опасности. Наверное, она в этот миг подумала что-то совершенно иное и более благородное, но я, конечно, не знаю что. — Почему не скажешь тому типу, чтоб не пугал дам?! Мы ведь не первые.

— По-твоему, Маша, я должен соваться в каждую тёмную подворотню Петрозалива! — вознегодовал я. — И выискивать там убийц, грабителей или, во всяком случае, странно улыбчивых пьяниц и просить их: «Пожалуйста, не пугайте девиц»?!

— Берег — это не тёмная подворотня, — всё с тем же

лицом констатировала сестра.

— Какая же разница, если и то и другое опасно? Кто ходит по таким местам, тот обязательно нарвётся. А предупреждать преступления по закоулкам да по ржавым кораблям пусть будет милиция вместе с духовниками. Я что, похож на страстно ищущего, пред кем бы вывернуть карманы под угрозой ножа?

— Помнишь, в шестом классе меня задирали один развязный парень?

— В шестом классе, Маша? — переспросил я как-то слишком тихо. — В шестом классе? То есть ты сейчас учишься в школе? Он был влюблён в тебя, вот и всё.

— Нет, Павел! Это неважно, когда это было, потому что ты там и тогда сказался. Однажды я выходила из школы, а он не случайно, а совершенно даже сознательно замахнулся мешком со сменной обувью и ударил меня по лицу. Он разбил мне губу! Что тогда ты сделал?

— Какая ты злопамятная... то есть я виноват, что какой-то пацан был к тебе равнодушен и дошёл до драки? Потом же он приходил просить прощения... и его родители...

— Да, через неделю, когда мама позвонила его родителям! — Маша вся выпрямилась, сложила руки на груди, лицо её выражало досаду. — А что делал старший брат? Тебя даже рядом не было! Хотя по телефону ты об этом узнал! Почему как мужчина не сходил к тому пацану? Одного тво-

его появления перед ним было бы достаточно, чтобы тот перестал оказывать мне такое внимание.

— Знаешь, я, кажется, начинаю понимать, почему у тебя нет молодого человека, — не выдержал я.

— О-о! — растянула она в горячей обиде. — Не смей говорить, почему у меня никого нет! Парень у меня был! Был, да только мы расстались с ним по причинам вполне естественным! И ты мне говоришь это, когда знаешь эти причины. Это по твоему же совету я с ним рассталась!

— Я всего лишь сказал, когда ты забеременела, что... — Я выдохнул, чтобы перевести дух.

Говорить об этом было нелегко.

— Что мы не потянем ребёнка и что я не доучусь в институте и испорчу себе всю жизнь.

— А потом я сказал: «Поступай, как считаешь нужным». Маша, тебе было тогда всего-то восемнадцать! Опомнись же! И не я на том настаивал! Я лишь возмутился, что тебя угораздило, что ты... и к тому же «как считаешь нужным» и «избавься» даже из разных звуков строятся!

— Вот оно! И здесь ты теперь отходишь в сторону, не можешь взять на себя ответственность. Ты не поддержал меня тогда! — глаза Маши снова заблестели. Сдавленным голосом она повторила: — Ты не поддерживаешь меня... некому поддержать.

— О, моя милая беспокойная Машенька, — искренне пожалел я её и приблизился, чтобы обнять, но Маша тут же

сделалась жёсткой.

— Не прикасайся, — с холодным надрывом выговорила она, — ты — никакой брат. И мужчина посредственный.

Я почувствовал, что сейчас она впадёт в состояние вроде истерического припадка, и поспешил ответить ей серьёзным и деловым тоном, пытаясь вернуть её в первоначальный, уже, видимо, забытый предмет разговора и тем самым «в себя»:

— Мария, ты можешь на меня злиться из-за того, что произошло. Впрочем, это вовсе не означает, что ты должна намеренно, как и всегда, лезть в опасности в надежде, что тебя кто-то спасёт. И, верно, даже ради того, чтоб тебя спасли. Да, я недавно понял, что именно ты делаешь в таких местах! Ты решительно ждёшь рыцаря, и чтобы не потворствовать этой твоей тенденции...

— О боже! Твои эти киношные термины... — Она склонила голову на бок и приложила ладонь ко лбу. Слезы в её глазах остановились, как ледяные. Но вот одна единственно по-инерции откололась, растаяла и потекла. Истерика вновь отступила. — Психолог из тебя, пожалуй, хуже, чем брат. А значит, всё, наверное, не так уж...

Что-то снова больно сдавило ей сердце. Губы подёрнулись, и плач возобновился. Тогда я её и обнял. Она зарыдала пуще прежнего, а я ещё крепче её прижал к груди.

— Знаю, так нельзя говорить, — шептала она плача, — я просто надеюсь... извини, что к тебе так унизительно бываю. Я ведь не хочу тебя оскорблять.

Я снова стал поглаживать её по волосам и тихо приговаривать бодрим, но без лишней фальши голосом:

— Если я буду проходить там, на берегу, обязательно посмотрю, что там за странный дядька-то такой. Познакомиться не обещаю, но посмотрю. А ты не ходи куда не надо. Есть много и приличных мест.

Сестра вздохнула, я неспешно отстранился и достал ей из трюмо платок, а затем вышел из квартиры.

В салоне

Комната в «Приморском» салоне действительно оказалась буквально овальной. В ней были матовые стены тускло-алого цвета, а по всему периметру расставлены двухметровые абажуры, так что свет освещал спины собиравшихся ярче, чем лица. Владельцы считали, что при подобном устройении пространства, когда свет не в центре, а вокруг, люди ведут более содержательные беседы. Уж не знаю, почему они так решили. Посередине же располагался овальный стол невесть какого дерева, покрытый полустёртым чёрным лаком, причём овал стола не подходил к овалу комнаты, был сплюснутее с боков и, кажется, стоял неровно. Я особенно отметил эту несимметричность, так как подобные неровности часто хоть и не выводят меня из себя, но если о них поминутно вспоминать, немного нервируют. К примеру, отчего не подвинуть один край на полметра в сторону? Неуже-

ли никто не видит! Впрочем, верно, я снова немного преувеличиваю. В тот раз я лишь отметил этот факт и тут же отвлёкся на присутствующих. Я, вероятно, немного опоздал, поскольку беседа уже была в самом разгаре. Люди говорили, неспешно потягивали напитки и курили. Большинство сидели довольно расслабленно, совсем как у себя дома. На столе стоял кофейник, металлический чайник, початая бутылка белого вина и закрытая бутылка шампанского. Также по столу раскидывалась какая-то уже истерзанная стопка хлопчатобумажных салфеток, в которой нижние лежали сложенными ровно, а верхние смялись и съехали на стол.

У левой от входа стены сидела девушка в тунике и джинсах, на аккуратной её голове волосы стягивались в хвост. Она положила одну босую ногу на стул, из-за чего её колено оказывалось на уровне её головы, а другую ногу она вытянула под столом и лениво покачивала ею туфлю. Она смотрела на всех поверх своего колена и курила сигарету в тонком длинном мундштуке. Пред ней стоял бокал вина. Напротив неё, за другим концом вытянутого стола, я заметил вчерашнего моего знакомого, Андрея Тимофеевича, который сидел полубоком ко всем и откинувшись на спинку стула. В его высокой стеклянной кружке было на две трети отпитое светлое пиво. Небольшая бородёнка его растрепалась, а во всём виде его присутствовало такое особое расслабление, какое приходит к иным страдающим больным, которые приняли обезболивающее. Я сразу это отметил. Сейчас он что-то рассказы-

вал собранию. Справа от него сидел лысеющий мужчина с трёхдневной коричневой щетиной, сгорбленный над столом, но при этом запрокинувший голову назад, отчего мне показалось поначалу, что у него нет шеи. Пред ним не было напитка.

Далее по столу против часовой стрелки сидел Русаков Пётр — невысокий молодой человек с гладковыбритым лицом в толстых очках, подпёрший рукой щеку. В его кружке пенилось ещё не тронутое пиво. Далее, слева от девушки с коленом, сидел хмурый и толстый мужчина с залысинами и курчавыми редкими волосёнками на висках. Он пил кофе. Справа от девушки с коленом стоял свободный стул, далее сидел мужчина, лица которого я не видел и пред которым также стоял бокал белого вина и лежала книжица, настолько затасканная, что обложка её оттопыривалась под углом. Рядом, слева от Андрея Тимофеевича, сидела кудрявая девушка и смотрела в кружку с кофе, сложив руки под столом на коленях. Когда я только вошёл, говорил Андрей Тимофеевич, и хоть говорил он всем, но чаще смотрел на кудрявую девушку.

— Я не хотел бы сказать, что фильм Лины Егоровны так уж плох. Я лишь сказал, что он сыроват...

Прежде чем на меня обратили всеобщее внимание, девушка ответила как-то виновато:

— Я знаю, это и не фильм вовсе... заготовка только лишь...

Пётр Русаков смотрел на неё сквозь толстые линзы очков несколько потерянно. Очевидно, эта виноватая девушка и была Лина. Это то, что я успел заметить предварительно, осмотревшись несколько секунд с порога, стоя в тени занавесей, а затем я вошёл.

— О-о! — развёл руками Андрей Тимофеевич, завидя меня. Развёл руки, но встал только когда я оказался рядом с ним. Он пожал мою руку. — Это же Пал Палыч Ресницын. Садитесь, Пал Палыч, вон на тот свободный стул. Вы нас так сильно радуете своим появлением.

Я так и сделал — прошёл и сел на стул. Тот глухо скрипнул, все посмотрели на меня.

— Давеча я пригласил его к нам. Он кинокритик в журнале «Кинокухня»! Вот в этом самом журнале. — Андрей достал откуда-то позапрошлый выпуск и, похаживая вокруг стола, собрался что-то читать.

— Я рад присутствовать, — сказал я. — Но только я не кинокритик. Я скорее редактор. — Тут я посмотрел на Петю. Он глядел на меня с наивной и странной улыбкой.

— Ну, полно. Вот, к примеру, его разбор фильма «Ширли-мырли». Я не буду листать целиком, тут много, но вот кусочек. Я надеюсь, вы не возражаете, Пал Палыч. Специально ждали вас, чтоб прочитать. — Он раскрыл журнал на заложенной странице.

— Простите, Андрей Тимофеевич, к чему это всё, зачем же вслух читать... и... — вежливо запротестовал я.

— Ах, простите и за то, что давеча в баре я представился вам Андреем Тимофеевичем. В том была только одна моя необоснованная пьяная ирония. Вот сейчас же пред всеми приношу свои извинения... Называйте меня Андреем. Так оно правильное будет.

Я взглянул на мужчину справа от меня, которого теперь мог рассмотреть. Тот, казалось, слегка покраснел и вжался в свою рубашку с коротким рукавом. Взгляд его будто искал некой безопасности между строк обложки книги. У мужчины был нос с горбинкой и маленькие усики, а поджатые губы слегка подрагивали. Я не понимал, что с ним такое, а был сосредоточен на странно воодушевлённой речи Андрея Тимофеевича. Остальные присутствующие, кроме Пети, поминутно бросающего на меня заинтересованный взгляд, и джентльмена справа, казалось, нисколько не изменились. Толстый мужчина отхлебнул кофе, а девушка вытянула из мундштука сигарету и затушила её в пепельнице.

— Простите меня, Пал Палыч, я ведь это непременно затеваю, чтобы только познакомить всех с вами. Я прочитаю, пожалуйста. — Он быстро глянул на меня, а я не успел запротестовать снова. Впрочем, я был не то чтобы против, так что просто поддался течению.

Андрей Тимофеич от воодушевления говорил громко, не сбиваясь, хотя как будто всё время на вдохе, и выдохнуть ему было некогда. Он спешно почесал и погладил бородёнку.

— Прочитаю! Непременно! Вот: ««Ширли-мырли» — за-

зеркалье российской действительности, и зритель, подобно Алисе, попадает в этот искажённый, как в комнате смеха, мир...» Или вот ещё, мне особо понравилось: «То, что один Гаркалин сыграл Василия Кроликова, вора, цыгана, музыканта (ещё кого угодно), отражает многогранность, много-ролёвость русского человека. Под русским понимается житель России любой национальности. Что это символизирует? Очевидно, высокую адаптивность русского человека, но и некоторую национальную безответственность за себя, но ответственность за ближнего...». И вот, — Андрей Тимофеевич коротко усмехнулся, поднял палец вверх: — «Это не обычная комедия, каких полно в западном кинематографе, не антуражная, где смысл в том, чтобы полебезить перед зрителем и рассмешить его. Этот фильм жесток со зрителем в том смысле, что он — клоунада только снаружи, и в том смысле, что он в какой-то мере показывает зрителю самого себя. Но оставим серьёзность, ведь, кроме того, фильм неимоверно смешной, если быть готовым к абсурду и порой к непотребному юмору. Фильм честнейший и очень национальный», — Андрей Тимофеевич положил журнал на стол. — И это ещё Пал Палыч о фильме не самом примечательном сказал. Эвоно как у вас это-то получается. Это ещё про картинку-то, про «Ширли-мырли» -то. Сейчас я уж и не нашёл, но мне ещё понравилось место в статейке, где вы пишете про то, что фильм весьма наглядно и в юмористической форме показывает стихийное и тотальное слияние западной

культуры с российской. Сравниваете это с прорывом плотины... или с чем там? И про алмаз как воплощение русской идеи... или мечты?

Мне стало весьма неловко, неизвестно из-за чего: то ли из-за того, что Андрей Тимофеевич так долго говорит о моей статье, то ли из-за того, как он это делает — с каким-то надрывом. Вероятно, из-за того, что мне решительно было неясно, серьёзно ли говорит он или ведёт к какой-то шутке. Тогда я оглядел присутствующих. Девушка слева смотрела на меня всё ещё поверх колена и одобрительно кивала. Толстый лысый мужчина перестал хмуриться и внимательно слушал. Петя Русаков выглядел задумчивым, а парень со щетиной довольно улыбался, будто вспоминая смешную сцену из «Ширли-мырли». Кудрявую девушку я не видел из-за джентльмена справа, который только один единственный выглядел сконфуженным.

— Не мне объяснять, что значит появление Пал Палыча, — произнёс Андрей величественно.

— Ну довольно вам уже, — вмешался я скромно. — Я ведь перебил своим появлением вашу беседу. Прошу меня простить за это. Верно, Андрей Тимофеевич...

— Андрей... — поправил он меня и уселся обратно на свой стул.

— Андрей... преувеличивает. Я всего-навсего зашёл из интереса скорее праздного, чем профессионального, потому лишь, что интересуюсь кинотворчеством и кинотворцами. И

обзор на «Ширли-мырли» писал не я один. Тут ещё коллега способствовал. Я всего лишь хочу послушать, а если вникну, то и поговорить. Хочу узнать, чем вы на таких собраниях занимаетесь.

— Решительно ничем, — едва слышно, но злобно процедил сквозь зубы мужчина с книжицей и, точно желая тут же отвлечь моё внимание от сказанной фразы, быстро поднёс к губам кофе, отпил и изобразил на лице безразличие.

— Простите? — поглядел я на мужчину.

Затем прочитал название книжицы: «Шестидесятники и мы: кинематограф, ставший и не ставший историей» Аннинского. Когда-то я начинал читать её и в процессе понял, что терпеть не могу шестидесятников, особенно песенников. Как начинаю слушать, тотчас же плохее. Их какая-то жертвенность, часто даже жалость к себе как будто обязывает к тому, чтобы им сказать: «Я уважаю вас! Вы страдали, подвергались гонениям и прочая! Но я не могу уважать только за одно это». Добавьте ещё и их утопизм, их слепую, совершенно слепую веру в человека и общество! Ещё в их творчестве фигурируют другие, плохие люди, которые ими показываются, словно некая не очень одушевлённая, но единая и злая сила — это враги... Впрочем, не буду так категоричен. Среди шестидесятников, пожалуй, лично я бы выделил три-четыре вполне сносных и даже примечательных личности. К тому же вы можете смело сказать мне: «Вы ничего не понимаете, шестидесятники — это совсем не то, что вы думаете».

те», — и будете правы! Однако мужчина справа как раз, видимо, принадлежал к культуре почитания шестидесятников. От него даже запах был соответствующий. Какой именно запах я сказать затрудняюсь, но в самом том факте запаха сомнения не имею. Отчего он раздражается, я не знал. Причина того была, наверное, до моего пришествия. Девушка слева от меня закурила новую сигарету.

— Мы на этих собраниях разговариваем, — заговорил вдруг Петя, не поняв нашего с мужчиной обмена репликами. — Знаете, Пал Палыч, людям так необходимо разговаривать. Вот сниму я фильм, например, и не знаю даже, стоит ли людям показывать и, главное, где показывать. — Пётр говорил тихо и глотая последние слоги в словах. Интонация его звучала как-то сдержанно. Таким тоном, как у него, обычно произносят фразу: «Ну вот извините, чем богаты, тем и рады» или «Здесь тесновато, конечно, зато тепло». — Я, кстати, Петя Русаков. Мы виделись с вами как-то прежде, чем вы рецензию на «Дороги и обочины» написали, на фильм мой. Помните? — Слово «помните» он произнёс как будто с надеждой, про которую он знает наверное, что она не оправдается.

— Конечно! Я сразу узнал. Очень рад снова видеть, — произнёс я.

И в этот момент подошёл человек, я заказал у него кофе, а меню брать не стал.

— Андрей был так рад вам, что забыл представить нас, —

всё тем же извиняющимся голосом говорил Пётр. Когда мы виделись с ним в прошлый раз по поводу его книги, он показался мне более решительным, даже с лёгкой дерзинкой. — Вот это, слева от меня, Пётр Алексеевич. — Он указал на небритого человека без шеи. Тот кивнул мне. Петя поправил очки и показал на толстого джентльмена справа от себя. Тот улыбнулся мне. — Он у нас обладатель самой значительной насмотренности в кинематографе. Далее, это Денис Петрович. Он разбирается в технике. А вообще, он звукорежиссёр, помогал нам неоднократно свести звук в фильмах. И на съёмках.

— Денис, — грузным басом гаркнул толстый человек с редкими волосами на висках и, кажется, шмыгнул носом.

— Эта очаровательная девушка — Диана, — Петя указал на девушку с коленом и мундштуком. — Она актриса театра и наш голос разума.

Диана не взглянула на меня, вместо этого выдохнула дым в потолок, под которым висела несветящаяся люстра. Дым обогнул люстру и рассеялся. Девушка склонилась к столу, отпила вина из бокала, со стуком поставила бокал на место, снова откинулась на спинку. Под столом она, судя по лёгкому покачиванию на стуле, по-прежнему крутила ногой свою туфлю.

— Напротив меня — Саша, он режиссёр и оператор. Снимает весьма в необычном жанре. Я лично даже не догадываюсь, как такой жанр назвать. Тоже документальное кино,

только как бы от первого лица. Первый эксперимент — от лица милиционера, который гоняется за преступником, своим давним другом. Как-нибудь обязательно посмотрите.

— Он не издавался, — с едва скрываемым раздражением сказал Саша, нервный мужчина, сидевший справа от меня. — Его не пропустили даже в закрытом показе в Музыкальном Доме.

— У нас трудно с новым, Саша, — успокаивающе произнёс Петя, — эксперименты тем более принимаются не так скоро.

Саша, казалось, не слушал Петю, думал о чём-то своём, поэтому мне показалось, что причина его раздражения даже не в провале фильма.

— А это — Лина Егоровна, она ещё только начала снимать, но планы у неё весьма грандиозные.

Кудрявая девушка выглянула из-за Саши, и я впервые её увидел. Лина Егоровна оказалась весьма привлекательной молоденькой и румяной девицей. Я не понимал, почему её называли по отчеству. К тому же веснушки вокруг её вздёрнутого острого носика придавали ей вид вполне девчоночий. От отчества, вопреки моему ожиданию, девушка отречься не стала. Она весело взглянула на меня и снова спряталась за Сашей.

— Ну и полно, — вздохнула Диана, словно только и ждала этого самого момента, — знакомство состоялось, и, право, затягивать нет смысла. Я ещё не высказалась по поводу

Лины Егоровны. И как сказал Андрей, её фильм сыроват, но я не соглашусь, что в нём переигрывают. Ребята для своих небольших талантов справились вполне достойно, особенно если учитывать, что роли исполняли актёры театра. В кино всё решительно иначе, чем в театре, а многие, приходя в кино, играют так же. По крайней мере, есть такое мнение. Я же думаю, что если ты хороший актёр, то неважно, в театре или кино, ты сыграешь одинаково хорошо. Лина, мне кажется, тебе необходимо продолжить, но только брать в следующий раз то, что ты сможешь осилить. А затем уж можно подняться на ступеньку выше, но только лишь затем.

— Пожалуй, — отвечала Лина скромно. — Я ведь и согласилась перед приходом Павла Павловича, что у меня получились больше зарисовки.

Мне принесли самый обыкновенный кофе, какой только можно сварить.

— Несомненно, — начал опять Андрей Тимофеевич, погладив растрёпанную бородёнку. — Несомненно, зарисовки интересные. Вам, Пал Палыч, непременно нужно посмотреть. Как нужно посмотреть и работу Дианы, и Петра Алексеевича, и Пети Русакова, и Саши. Про свои я говорить не смею, не смею. — Андрей допил пиво и отточенным жестом заказал официанту ещё.

— Право же, — ответил я, — я помню о том, что давеча хотел высказаться по поводу вашего фильма, Андрей.

— Что хотите! — почти закричал Андрей.

Диана цокнула языком и закатила глаза. Денис Петрович тихо ухмыльнулся.

Андрей закончил:

— Что хотите, то и говорите! Непременно, как считаете нужным, так оно даже и необходимо.

— Да, конечно, не стану скрывать, — начал я, — фильм ваш трудно смотреть. Не для среднего зрителя, то есть кто увидит — тот увидит. Остальные не досмотрят, но вы, на мой взгляд, убедительно продемонстрировали антитезу суеты; показали её противоположность — покой созерцательного, как в сцене с чернобыльником. Андрей показывал бегущих куда-то людей, шумящие автомобили и поезда, а затем камера отдаляется... и... чернобыльник — покачивается тихо, и никто его не гонит, он предоставлен только себе и ветру, но не осознаёт это, а между тем человек сознаёт суету, сокрушаясь оттого всё более, однако всё равно продолжает суетиться и бежать (признаться, это в фильме было, но я немного преувеличил, пользуясь своими давними измышлениями о природе суеты). Другая длинная сцена, с глазом, даёт надежду на то, что человек не только осознаёт свою суетливость, но также и может с ней справиться. То был глаз, борющийся за остановку суеты... Мне кажется так, поскольку... а я говорил вам, чтобы вы это как комплимент не восприняли, поскольку всё это в фильме не слишком-то и очевидно. К тому же приём параллельного монтажа, выбранный вами, несколько устарел (хотя ещё действует. Впрочем, мо-

жет быть, это и не параллельный монтаж, а неведомый мне приём, как-то иначе теперь называющийся). В целом видно, что вы хотите сказать, но будто бы и не договариваете что-то. Будто один, скажем, англичанин пытается сказать что-то не понимающему его китайцу. Вот он машет руками, демонстрирует богатство мимики, пересказывает на английском Шекспира, тогда как китаец видит лишь кривляния и единственно только устаёт от наблюдения этой буффонады. Может быть, тихо смеётся. Так и я почувствовал себя этим китайцем, только не смеялся, а старался понять. Но стараться станут далеко не все. Как вы, Андрей, простите, давеча сами сказали — подражание. Так ведь и правильно заметили! Вы явно подражаете, подражаете не всему Тарковскому, а лишь по части длины сцен и предложения зрителю созерцать. Моё лично мнение: то, что вы говорили целый час своим фильмом, можно было высказать без потерь смысла и содержания за двадцать минут, причём «суетная» составляющая фильма показалась бы зрителю даже как-то гуще и насыщенней и потому гораздо убедительней. Некоторым фильмам лучше быть короткометражками.

— Я уверена, что Андрей, — холодно говорила Диана, — как этот ваш англичанин, рассказывает китайцу что-то, но явно не Шекспира, а список покупок. Или и того проще — не знает, что сказать этому вашему китайцу, Павел Павлович, но обязательно хочет хоть что-нибудь да сказать ему, от скуки как будто. Это уж... когда нечего сказать, то и «да»

— СЛОВО.

Лицо Андрея выразило сильнейшую досаду за полуулыбкой, бессильной скрыть что-либо. Ему принесли пиво, он взглянул на него как-то отрешённо и слепо.

— По правде сказать, — сразу сдался Андрей, что, разумеется, благоразумно с его стороны, — я и сам знаю, что в фильме слишком уж много всего бегущего и едущего. Много часов с бешено вертящимися стрелками — целых пять! А сюжета мало, я и сам знал.

— Однако Пал Палыч заметил то, что и ты сам не замечал, — сказал Пётр Алексеевич, который уже не казался человеком без шеи, потому что перестал горбиться и словно всем телом лёг на спинку стула. — А если, впрочем, ты и замечал, то популярно для китайцев передать не смог. Что же, и для этого в том числе и существует критика, не так ли? — Пётр Алексеевич как-то исподлобья пристально взглянул на меня.

Я отпил кофе. «Как же я мог позабыть про сахар?» — подумалось мне в ту секунду, словно эта мысль смогла бы послужить мне ширмой от взгляда Петра Алексеевича. У него не было решительно никаких оснований смотреть на меня подобным образом.

Но тут со своей услужливой и учтивой интонацией вступился Петя:

— Я, сказать к слову, больше сторонник искренности, и так, как на духу лежит, так и скажу. Пал Палыч, мы вас любезно приглашаем отныне и впредь быть нашим гостем, по-

сколько — я хотел бы быть искренним с вами, со всеми, да и с самим собой — не секрет, что все мы питаем к вашему появлению большие надежды...

Диана цокнула языком, осуждающе вздохнула, и прикрылась от меня рукой, поставив локоть на колено. Очевидно, она не питала каких бы то ни было надежд, а если и питала, то слишком не хотела, чтобы я об этом узнал.

— ...Ведь представители массовой информации не слишком часто к нам заглядывают, — продолжал Петя. Во время своей речи он снял очки, протёр линзы краем рубашки, игнорируя расположившиеся по столу салфетки, и снова надел. — Вы, вероятно, и сами подумали уже, что мы имеем в вашем появлении, помимо чувств совершенно дружеских, ещё и обыкновенный расчёт. И вот, если вы о нас напишите, о ком-то из нас — хоть изредка, мы будем вам безумно признательны.

Я улыбнулся Пете. «Его прямотушье облегчает существование на белом свете» — так мне подумалось тогда.

— Я напишу. Разумеется, напишу. Давеча Андрею уже обещал, напишу и про остальных, если увижу фильмы.

— Если уж покончено с вашим откровением, Пётр Станиславович, — заулыбался Денис Петрович (очевидно, Петю называли в этом обществе по отчеству преимущественно в ироническом ключе), — то я хотел бы высказать одну идею для фильма. И предложить её конкретно Саше. Потому что в истории, о которой я считаю достойным снять сюжет, будет

уместен новый подход. Я говорю о созданной Сашей новой жанровой ветке документального кино от первого лица.

Несмотря на то что все знали о том, что это никакая не новая жанровая ветка, в Саше, раздражённом молодом человеке с усиками справа от меня, внезапно просиял восторг, как бы наложившийся на злобу и подозрительность, отчего Саша невольно стал выглядеть как замышляющий страшное злодейство гений. Его глаза заблестели. Усики только дополняли картину, ещё бы ему монокль на цепочке — и вышел бы вполне типичный злодей, не помню из какого кино.

Денис Петрович, очевидно, давно видевший некую внутреннюю борьбу в Саше, неспроста обратился с идеей именно к нему:

— Антураж, допустим, вы придумаете сами, уж я в том нисколько не сомневаюсь. Придумаете, кто главный герой, из чьего взгляда будет смотреть зритель, каковы его мотивы и прочее. Сам же я хочу при всех предложить вам идею, за которую, я уверен, как раз вы схватитесь. А я, скажем, могу помочь вам технически — например, наложить разные страшные или попросту для атмосферы звуки. Уж тут на меня можете абсолютно положиться. Не смею более томить. Идея вот в чём. Намедни, вы знаете, в наш городок воротился один джентльмен, он занял «тёмный» дом у моря, неподалёку, тот единственный, что на самой набережной. То есть, разумеется, все это знают, равно как и о дюжине его девушек, но сам фильм будет состоять из жизни одержимого узнать,

что же творится в доме джентльмена. Пусть героем будет или журналист, или ещё кто-то, да просто маньяк, в конце концов. Исключительной особенностью фильма станет неизбежный реализм происходящего, а между тем в самой жизни героя, допустим, будет что-то происходить, но уже по сценарию, а сцены с джентльменом — не по сценарию. И тут же сценарий начнёт меняться, как живой. Пусть у героя будет конфликт с кем и чем угодно — с девушкой, с начальством, например, кризис сюжетов для репортажей и начальство поручает ему следить за джентльменом... в конце концов, у самого джентльмена его подозрительность можно снять, если перед выходом фильма объяснить, что всё это — художественный вымысел, не более. Ведь могут же шутники на улицах нынче и вовсе издеваться над людьми: «Улыбнитесь, — дескать, — вас снимает скрытая камера». И, несмотря на откровенные издевательства, улыбаются ведь! И в камеру! Вот, Саша, сейчас какое удачное время для вашего фильма.

— Идея спорна, — сказал Саша, но не чтобы отмахнуться. Он действительно ухватился за идею почти с энтузиазмом и сейчас размышлял, поглаживая усики. И тут вдруг вспыхнул: — Да и потом, это же форменный шпионаж! Как же частная жизнь и всё такое подобное? Уж, право, не знаю, как там в конституции, но порядочные люди... и заметив... Нет.

— Подождите, — заулыбался Андрей. — Ха-ха-ха! Подождите, вы предлагаете... — отсмеявшись и деланно выдохнув, он отхлебнул пива. — Бесспорно, вот будет новость.

— Незаметно же для самого джентльмена! — настаивал Денис Петрович.

— Уж лучше незаметности, пожалуй, и придумать нельзя! — саркастически заметила Диана, а затем добавила неожиданно серьёзно: — Надеюсь, вы сейчас этой идеей переболеете, а позже рассудите трезво. Этот джентльмен, — она произнесла слово «джентльмен» с каким-то особым отвращением, — может быть таким, что с ним и не пошутить, и неизвестно, что он может... нет, право, переболейте. Мы ничего о нём не знаем.

— Так это-то и интересно, что не знаем! — заговорила Лина Егоровна. — И вы, Денис Петрович, с юридической стороны подошли весьма грамотно! Точно, фильм — как будто некий журналист пытается про него разузнать. Мы станем наблюдать и снимать от лица журналиста только внешнюю сторону жизни джентльмена, только то, что любой сможет узнать, а потому — то, что и не секрет вовсе.

— Так или иначе, я в этом не участвую, — заявила Диана. — Вы даже не знаете, может быть, какие проблемы вы на себя этим слежением навлекаете.

— Правда, Лина, Денис Петрович, — сказал Саша, успокаиваясь, — пока оставим это. Нужно всё обдумать как полагается.

— Если честно, я не могу сказать ничего определённого, — пробубнил еле слышно Пётр Алексеевич.

Его как будто никто не слышал, и воцарилось недолгое

молчание. Каждый подумал о чём-то своём. Каждый отпил от своего бокала, а Пётр Алексеевич, которому неоткуда было отпивать, позвал официанта и тихо заказал чаю с коньяком.

Наконец голос подал я. Глядя на слегка сконфуженного Петю, я спросил:

— Простите, а кто этот самый джентльмен таков есть?

— А вы, что же, не знаете? — взглянула на меня Диана с таким лицом, словно я не знал, который теперь год.

«И это она только две минуты назад утверждала „Мы ничего о нём не знаем“», — подумалось мне. Я учтиво покачал головой, а Диана продолжила:

— Это мужчина, у которого здесь большой дом на набережной. Уезжал он отсюда, из своего старого родового дома, юношей, а вернулся взрослым, да и не один, а с дюжиной девушек.

— А откуда вернулся-то? — спросил я.

— То ли из Якутии, то ли из Бурятии, — ответил Петя наскоро.

— Примечательно то, — неспешно продолжила Диана низким пренебрежительным тоном. Она наконец выпрямила ноги под столом. Эта девушка была как-то по-хищному обворожительна, и она это своё обаяние чувствовала, казалось, всем телом и потому позволяла себе выгибаться и потягивать ноги, подобно кошке. В ней ощущалось нечто агрессивное и по-животному горячее, но никак не милое. — Что де-

вушки эти — все сплошь азиатки. Всё бы ничего: казалось бы, пока жил там, набрал прислугу из местных тамошних, да и всё. Но нет — не похожи девушки ни на якуток, ни на буряток. Вернее, похожи не все, как говорят.

— Вы, уважаемая моя Диана, — улыбался Петя, — ещё скажите, что из каждого азиатского края он набрал по девушке.

— А что? Возможно и такое, — допустила, подняв брови, Диана, — может быть, он этнолог и исследует разницу в крови у разных этносов.

— Подождите с версиями, — остановил Пётр Алексеевич. Пред ним как раз поставили корзинку с печеньем и чай с коньяком, и он отвлёкся на то, что Андрей с озорством школьника тут же схватил две печенюшки и стал жевать.

— Ты же сама с таким аппетитом рассказываешь! — отметил Денис Петрович с восторгом. — Почему же против фильма?

— Потому что я чту право на частную жизнь. А историю я, пустим, действительно смакую, поскольку неизвестное ведь всегда притягивает и стимулирует воображение. К тому же в нашем городке то вовсе ничего не происходит, то всё сразу.

— Вы говорите, что этот джентльмен уехал юношей, — заговорил я, — из родового дома. Дом принадлежал их семье ещё до революции? Так как же тогда дом выстоял во время уплотнения и как же пережил социализм? Сам я вижу этот дом регулярно и знаю про него, что после революции это был

барак, потом госпиталь, в середине двадцатого века в нём был устроен дом культуры — гаргулий демонтировали, стены перекрасили. А в семидесятые объявили архитектурным памятником, починили и вернули гаргулий и восстановили прежний облик. Вы что-то, верно, путаете, говоря о нём как о родовом доме.

— Всё правильно, весь дом им не принадлежал, — продолжи Диана. — Во время уплотнения в доме, как вы подметили, организовали казарму, а его семье — уж не знаю, сколько их было на тот момент и кто семью составлял, — доподлинно известно, что его семье выделили то ли крохотную комнату, то ли подвал, и они жили вместе с солдатами. Во время госпиталя — то же самое. Кроме того, семья всегда дружила с местным руководством, с советом народных комиссаров или с чем-то ещё, и во времена дома культуры вроде бы отец семейства заведовал лично домом культуры. Позже он сам возглавлял работы по восстановлению дома как памятника архитектуры, но умер. А в семьдесят каком-то на его место назначили его дочь, которая и явилась матерью нашего джентльмена, теперь же его мать умерла, а сам джентльмен вступил в наследство, и ему, кажется, даже вернули все права на дом. Соглашусь, редкая история, но не то чтобы невозможная, поскольку я особо хочу подчеркнуть дружбу семьи с муниципалитетом. Происходи история где-нибудь в Ленинграде, там ситуация другая, ну а мы — окраина, хоть и приморская. Так что...

— Я вас уверяю, что девушки эти, к слову, самые настоящие проститутки, — неожиданно заговорила Лина, — он собирал их где-то и приехал зарабатывать на них.

— Ага, — закивал Пётр Алексеевич, — что же вы, давайте фантазировать до конца: и он пригнал их за семь, или сколько, тысяч километров пешком или в товарном вагоне, где они питались мочёным горохом. Не думаю, что в нашем городишке на этом заработаешь.

— Значит, Петрозалив не конечная его цель. Поедет дальше, — уверенно объяснила Лина.

— Ради бога... — хмуро бросил Пётр Алексеевич между прихлёбываниями чая.

— Может быть, всё-таки прислуга? Почему чуть что — так ведь непременно проститутки? — расслабленно залопотал Андрей. — Да, такая вот обычная прислуга. Где жил, там и набрал. Якуток-то. Где же он иных-то наберёт?

— Позвольте, ну какая прислуга в наши дни? — возмутился Пётр Алексеевич. — И не прислуга, и не гулящие, но тут всё равно нечистое что-то, и все это чувствуют. Вот и пристают к ним. Вполне возможно, что кино ваше выйдет любопытным. Единственно, акцент не следует на одном только джентльмене делать. А то ведь действительно забьрут...

Диана бойко закинула ногу за ногу и с лёгким раздражением произнесла:

— Что же, в таком случае решайте сами, — это прозвуча-

ло от неё как разрешение, Саша заговорщически улыбнулся ей. Она продолжила: — Но я это не одобряю. В конечном итоге неизвестно, чем кончится ваша слежка. Даже если он и антикварщик и у него есть запрещённые старые предметы мебели или быта — хотя, господи, у кого из нас в семье нет старой статуэтки, которую мы не выдаем за новую, — этот джентльмен ведь следит за домом, который принят в реестр памятников архитектуры. Вдумайтесь! А это значит, что у него полно антиквариата, но закон тут на его стороне, а не на вашей, — Диана хотела было сказать «нашей», но в последний момент сказала «вашей». — То есть закон о сдаче антиквариата и статья о хранении и эксплуатации антиквариата на него не подействует, будь вы хоть трижды журналист. И даже если по какой-нибудь нелепости вам кто-нибудь и разрешит снимать джентльмена...

— А что, если снимать под предлогом запечатления и исследования дома?! — точно в озарении перебил Диану Денис Петрович.

Одновременно с ним продолжила говорить Диана:

— ...Его частная жизнь никоим образом...

— ...Он ведь достояние города, его уж точно можно снимать! — говорил Денис Петрович, как бы вовсе и не замечая Диану.

— Да дайте же мне закончить, чёрт бы вас! — не удержалась она.

Денис Петрович замолк. Один Андрей улыбался во весь

рот, словно в наслаждении и без тени смущения наблюдая за сценкой.

Диана отпила вина из бокала, затем продолжила уже спокойнее.

— Если исследовать дом — дом-то вы исследуете, — говорила она ровно и размеренно, — а вот чуть джентльмен попадёт в кадр, он может опротестовать съёмку и добиться её запрета. Помните: друзья в администрации. И ничего вы с этим не поделаете. — Диана замолчала, снова отпила из бокала и закурила новую сигарету, вставив её в мундштук.

— Мы с вами слишком много курим, — заметил Петя Диане и тоже закурил сигарету. Заметил как-то особенно, что я увидел: то был меж ними какой-то заранее обговорённый знак или часто обсуждаемый контекст. Но, возможно, я ошибся.

— Вот что, — уверенно встал Андрей и неспешно заходил вокруг стола, — насчёт фильма — это вы все подумаете. А мы по этому поводу ещё не испросили нашего дражайшего гостя, и это слишком дико с нашей стороны. Простите, Пал Палыч. — Андрей снова остановился позади Дениса Петровича, прямо напротив меня.

— Судя по той информации, что я получил от вас тотчас, если это можно, право же, назвать информацией, — я вопросительно оглядел присутствующих. Пётр Алексеевич в дальней части стола пожал плечами, и лицо его при этом как-то опустилось. — Впрочем, есть у меня мнение. Думаю, этот

джентльмен, как и все антикварщики, немного тронутый, и, полагаю, эти девушки — его содержанки. Вряд ли они работают. И уж вряд ли они гулящие. Хотя оно, пожалуй, само напрашивается, но что-то мне подсказывает, что это не так. Что же касается фильма, то он должен выйти любопытным.

— Не просто любопытным! — уверял Петя. — А даже в чём-то уникальным и исключительным. Сейчас журналисты снимают и показывают всё без разбору. Лина имеет к журналистике отношение. Так что же зазорного? Вот вы, Диана, говорите «частная жизнь», тогда как любую частную жизнь сейчас выносят на общее обозрение. Тем более мы же не желтуху снимаем, а кино про журналиста, а этот джентльмен — всего лишь любопытный фон, работа этого журналиста, его видеодневник, если угодно.

— И всё же вы, как человек от журналистики, — сказал Андрей, облокотившись на спинку стула Дениса Петровича. Сам же Денис Петрович от чьего-то присутствия позади себя съёжился, хотя старался не подавать виду. — Пал Палыч, можете сообщить нам, можно ли снимать? — Он пристально глядел на меня.

— Я не совсем от журналистики, но... отчего же нет? Я полагаю, если не лезть на рожон, снимать как бы видеодневник, то почему бы и нет? Как говорит Диана, частная жизнь должна остаться частной, но снимать — снимайте... (в этих словах мне самому послышалось какое-то противоречие). Тем более в столице сейчас со звёздами творят вся-

кое непотребство... только осторожно.

— Ну вот! — выпрямился и вскинул руками Андрей, чётко освещённый стоящим позади меня абажуром. — Павел Павлович — публицист дал нам своё одобрение. — Он зашагал по комнате как-то нервно, дёргано и говорил с каждым предложением всё более раздражительно. Но, чтобы скрыть это, деланно любезничал всё сильнее, как бы соразмерно раздражению. Глядел по большей части на меня и активно, почти театрально жестикулировал. — Скажите мне, любезнейший, вот вы нас благословили, а кто благословил вас? Кто вам преподнёс слова напутствия: «Иди, Павел, милый, будь сильным, вот тебе такой-то и такой-то совет»... и как? Сразу же стало хорошо, или подождало? Милый мой Пал Палыч, я бесконечно далёк от намерения вас обидеть, более того, я бесконечно вам благодарен, и вот от этой благодарности я особенно порой разгорячаюсь, не обращайтесь... Право же, я хочу этим сказать, что, как говорят умники, «Москва не сразу строилась». Так, верно, думаете и вы в отношении нас, как бы жалея нас (не отрицайте, я вижу по вашей мимике), как бы жалея нас, и думаете: «Москва не сразу...» Я такие вещи вижу, непременно вижу! Так ведь эта Москва с самого начала имела всё для того, чтобы там был город. И значит, что строилась сразу! А то ведь как: «сразу ничего не бывает». Так вот это сразу, с первого камня, с первого брусочка была Москва и строилась сразу. Так ведь и мы: у нас, может быть, и брусочка-то нет, но мы все здесь, любезный и уважаемый

Пал Палыч, и это значит, наша Москва строится сразу. О, вы не подумаете, что я кичусь или горжусь, я всего лишь хочу сказать: вот вы нас благословили, вот вы нас жалеете, а ведь мы в том, пожалуй, несколько не нуждаемся...

Я развёл руками от негодования:

— Я вовсе не это...

— Молчите! — закричал Андрей. — Мы стараемся, работаем, каждый выкладывается на своей основной работе, а после ещё и фильмы снимает, а вы — пишите, только и всего! Кто же вам-то одобрение своё... Экий вы!

Денис Петрович вдруг подскочил, громко скрипнув стулом, и объял Андрея:

— Не надо, — трясясь голосом, сипло выдохнул Денис Петрович.

Подскочил и Петя, он стоял наготове на случай, если Денис Петрович не справится.

— Не надо?! — завопил Андрей пуще прежнего, выглядывая на меня из-за Дениса Петровича. От копошения с грохотом упал пустой стул. — Я вам скажу, что не надо! Не надо ваших рецензий! Не нужно вас. Я вас давеча пригласил, так, от чувств лишь одних, что вам понравился фильм. А он вам, оказывается лишь сейчас, и не понравился вовсе!

— Послушайте! — закричал зачем-то и я, хотя сначала вознамерился хранить спокойствие. — Я публицист, не мыслю в категориях «нравится — не нравится»! Ваш фильм...

— Что мой фильм?! Да отпустите же меня, чёрт бы вас

всех! Отпустите, ничего я не стану делать. — Его осторожно освободили из хватки. — Как вас понимать, когда вы давеча сказали одно, а тут, при всех людях, мнение которых я ценю, сказали совершенно иное?

— Да с чего же вы взяли? Я говорил то же, только короче. Прекратите это сейчас же.

Глаза Андрея округлились. Он замер, часто дыша и испуганно уставившись на меня.

Заговорил Петя, он всё ещё стоял на подхвате:

— Право слово, простите нас, Пал Палыч, такое случается редко. Это не потому, что Андрей хотел вас обидеть или...

В эту секунду произошло нечто совершенно неожиданное. Андрей фыркнул, толкнул Петю в сторону, тот отшатнулся, споткнулся об ножку опрокинутого стула. Андрей схватил со стола стеклянную пепельницу. Повсюду полетели окурки, и туманным облаком разнёсся пепел. Диана закрылась руками и пригнулась, Саша встал, но ничего сделать не смог — он был по эту сторону стола, никто не успел остановить Андрея, он молниеносно швырнул пепельницу в поваленного на пол Петю с диким криком:

— И ты, чёртов подхалим! Твои велосипедисты в прокате ещё ходят, а ты всё задницу этому хлыщу лижешь!

Одновременно с криком раздался звон стекла. Очевидно, пепельница в Петю не попала.

— Андрюша, что ты устроил. — Лина обежала стол и помахала руками Андрею, глаза которого вдруг как-то поте-

р्यानно усталились на неоткрытую бутылку шампанского.

Все стояли уже рядом с ним, и я тоже подошёл несколько ближе. Сидели только Пётр Алексеевич, стыдливо уронив голову на руки, и Диана. Она поставила обе ступни на свой стул и качала головой с выражением «вокруг идиоты» на лице. В молчании Пете помогли встать, Андрея бережно усадили на стул, на котором до этого сидел Денис Петрович. Взгляд Андрея от шампанского всё так же пусто переместился на салфетки. Все молчали. На лице у Пети проглядывало два небольших пореза, очевидно, от осколков. Выражение лица Андрея как-то надломилось, губы мелко затряслись, и весь он побледнел. Затем встал. Петя хотел усадить его обратно, но передумал.

— Извините, — сдавленно пробормотал Андрей, облизнув губы. Оглядевшись вокруг, он бросил мгновенный взгляд на осколки, потом на меня. — Извините, — отшатнулся назад. — Я, право, виноват? Непременно виноват... извините, — слово «извините» он растянул так, точно собирался заплакать. — Я... уберу или... — он сунул руку в карман, достал несколько купюр, отсчитал и поставил уголком на стол. — Вот, это пусть всё за мой счёт.

— Андрей, ты меня слышишь? — чётко проговорила Лина. — Сядь. Всё в порядке.

— Нет, я... — Андрей попятился от неё, а затем развернулся и стремительно вышел из комнаты.

Диана проследила за ним взглядом, а затем торопливо на-

дела туфли и поспешила за ним.

— Простите за это, Пал Палыч, — произнёс Петя.

— Мне не за что таить обиду на Андрея, — сказал я, нахмурившись. — Я только не понимаю.

Денис Петрович поднял стул. Все уселись.

Петя Русаков оглядел оставшихся с улыбкой, а затем попытался оправдать странное происшествие:

— Всё это Андрей Тимофеич на эмоциях.

— Да уж, — буркнул Пётр Алексеевич и усмехнулся.

Саша, будто в каком-то серьёзном размышлении, долил себе остатки белого вина и выпил разом половину. Официант забрал пустую бутылку, а затем принялся подметать окурки и осколки. На белой скатерти стола по-прежнему рассеивалась пыль и лежало два бычка.

У меня в кофе плавал пепел, я отодвинул чашку. Весь стол выглядел как после борьбы, даже кривизна расположения стола относительно стен, даже безобразно иссохшая пена и остатки пива в бокале Андрея, и даже распластавшаяся кипа салфеток — всё это теперь перестало резать глаз и смотрелось под стать, как бы даже гармонично.

— Не нужно, наверное, понимать, — запоздало ответил мне Саша, улыбнулся и сам усмехнулся своим словам. Раздражение более не разбирало его, да и восторженность тоже точно испарилась.

— Ещё раз простите за это, — повторил Пётр Русаков.

Я достал кошелёк, чтобы заплатить за кофе, но Саша, по-

ложив руку мне на плечо, остановил со словами:

— Пусть Андрей утешится, — и показал на купюры, стоящие уголком на столе. — Это всё упростит для его финала.

«Какого финала?» — хотел было переспросить я. Слова эти показались мне странными. В итоге я промолчал. Мы ещё какое-то время посидели, но обманывать себя не пытались и ни о чём новом более не разговаривали.

Со всеми распрощавшись и уже уходя, я бросил взгляд на закрытую бутылку шампанского и подумал: «Ведь для чего-то её собирались открывать... По какому случаю? Из-за моего присутствия? Вроде как скрепить некий договор?»

Так или иначе, а я рад был выйти. В то же время некая незаконченность беседы тревожила меня, хотя было вовсе уж и не до законченности. На улице я вдохнул свежий бриз. И заметил что-то боковым зрением. Невольно повернул голову вправо. За угол здания Приморского салона мелькнула нога в джинсах и туфле. Секунду я пробыл в замешательстве, но узнал обладательницу туфли. Оттуда же, из-за угла, послышался какой-то разговор: голос Андрея, тихий, мелко причитающий. И голос Дианы, поминутно глухо отзывающийся «угу». Слова доходили до меня через одно. Я не стал вслушиваться. Ещё какое-то время поглядел на серую, бесконечно тяжёлую массу морской воды. Она начиналась сразу за пешеходной дорожкой и перилами, внизу под холмом, и плавно уходила в однородное белое небо, на горизонте становясь контурами волн мельче и плоче. Кричали чайки. Я

пошёл прочь в сторону ржавого корабля, по дорожке вдоль берега, мимо огромного здания порта, смотревшего в море своими большими пыльными окнами, мимо кранов и разноцветных складов, по двум пешеходным мостикам через впадающую в море реку. Так через некоторое время я приблизился к роще, которая примыкала почти к самой воде. В моей голове всё прокручивались бешеный взгляд и рубленые жесты Андрея, а вот его реплики, как назло, растерялись по уголкам моей памяти. Особенно ярко перед глазами проносился его бросок пепельницей. Видно было по всему, что Андрей не отдаёт себе отчёта в происходящем. А как он потом «извините» простонал холодеющим голосом! Это случилось только что, буквально полчаса назад, а у меня укрепились впечатление, что прошло по меньшей мере два дня.

На берегу

Я прошёл вдоль берега, мимо полуострова, вглядываясь невольно то в едва уловимые образы, рисуемые волнами, — справа, то в тень рощи, где стволы деревьев при моей ходьбе прятались друг за другом. И казалось, как, наверное, всегда кажется человеку, стоящему пред всем лесом или хотя бы пред рощицей, что в тени крон или в корнях обязательно должно что-то прятаться. И это что-то не следует видеть. Оттуда древняя человеческая вера в сатиров или лепреконов (да в кого бы то ни было), оттуда, то есть из недр сознания,

на границе с подсознанием. Я тоже, хотя и знал, что эта вера порождена вглядыванием человека в сумерки, несколько не сомневался в ту минуту, что там что-то скрывается от глаз моих. Вот-вот должен был мелькнуть чей-то хвост. Я улыбнулся своим предположениям и тут же пред моим мысленным взором предстал замахнувшийся пепельницей Андрей.

Внимательному читателю может показаться, что я пошёл в сторону старого корабля намеренно, тогда как намерения такого я не имел, а меня довели единственно мои раздумья от «целого гнездовища кинотворцев», как я выразился давеча. Может быть, если бы ветер подул или что-нибудь ещё произошло, я бы повернул направо и пришёл бы к дому вышеупомянутого господина. Видимо, мне интуитивно не хотелось видеть тот дом после произошедшей глупости. Лишь когда я увидал серо-рыжий буксирный баркас, завалившийся на бок и глядящий на меня чернотой своей единственной трубы, грузно расположившийся в море в пяти метрах от берега, тогда я вспомнил просьбу сестры. И в тот момент, когда у меня пронеслась мысль о нелепости её просьбы, я заметил того мужичка-рыбака. Он выходил из верхнего люка корабля в полный рост, как из двери собственного дома. Вышел, стал оглядывать корабль, стоя в резиновых сапогах по щиколотку, руки в бока. Весь в чёрном — потёртая куртка и фуражка. Я смотрел на его спину, не зная пока, остановиться и заговорить с ним или уже не потворствовать страхам сестры и пройти мимо. Тогда-то он первый обернулся на меня,

мельком оглядел и рыкнул как-то сипло, но вполне твёрдо:
— Проклятые пацаны! — и взмахнул рукой вверх, словно отмахиваясь от чего-то. Я остановился, а он продолжил, оглядывая корабль. — Опять спилили перила!

Он, очевидно, разговаривал со мной, так что я вежливо переспросил:

— Простите, перила?

— Ну да, вот и вот, — показал он рукой на места спилов. — На металл. Да перила-то — бог с ними, я их не особоли-во-то и ценю, пусть. Главное, чтобы стены мои не начали пилить.

Он резко повернулся ко мне и засмеялся во весь рот с гнилыми зубами. На лице — серая щетина. Чёрные глаза его не улыбались вместе с ним, как у кривляющегося шимпанзе. Внезапно оборвав смех, он подошёл ко мне и протянул мне руку, всё ещё улыбаясь.

— Я тут живу, — сказал он вместо имени.

— Очень приятно, — автоматически ответил я и пожал ему руку, хотя мне и не хотелось этого делать. Рука его оказалась холодной и мокрой.

— Ха-ха-ха! — он снова засмеялся, а после закашлялся. Когда сплюнул на камни, произнёс: — Гуляете тут? А что же? Гуляйте. Я вас тут в обиду не дам. Вы местный? А хотя какая же разница? Всё равно не дам. А то всякое тут случается...

Вопреки моим ожиданиям, от мужичка не смердело. Я

невольно принюхивался, хотя как можно менее заметно, но уловил только запах хозяйственного мыла. Это показалось мне несколько удивительным, по крайней мере для человека, который живёт в останках корабля. К тому же одет он был хотя и в старую, но чистую одежду.

— Послушайте, — начал я, не зная, как к дядьке обратиться, — тут сегодня проходили две юные девушки. Вы их испугали. Лучше бы вам впредь этого не делать. Вы меня понимаете?

— А... — он снова засмеялся и даже немного нагнулся от смеха. Успокоившись, он выпрямился и ответил всё с тем же каким-то злым задором, теперь же его выражали и сами глаза его: — Я знаю всё, что происходит в этом городе. И если я предвижу и говорю, что дальше ходить не надо, значит, дальше ходить не надо.

— Смотрите, какой оракул сыскался! — гаркнул я, разгораясь. Я был выше ростом почти на две головы и смотрел на него сверху. — Знает он! Если хотите службу добрую сослужить, то уж будьте потише в таких предупреждениях!

Дядька зло поглядел на меня, уставившись в упор своими глазами-углями. Его рот что-то злобно пережёвывал. И ведь такой и зарезать, пожалуй, способен. Я невольно отшатнулся и чуть не споткнулся о камень, но взгляда не отвёл. Тогда он прыснул, раздул щёки, будто от смеха, вскинул руки, дескать «будь по-вашему», и снова посмеялся. Глаза остались злыми.

Тут я обрёл решительность и начал саркастически:

— Тебе надо определённо в комнату страха устроиться! Там от тебя будет и пользы больше, сможешь и оракулом стать, и духом моряка. А впрочем, зачем тебе в город-то? У тебя же тут своя комната страха. Ну, так вот тебе монетка! Я сунул в карман руку, достал и бросил мелкую монету. Та глухо брякнула о куртку рыбака и упала в песок между галькой. — А может быть, ты тот скоморох из местной комнаты смеха? До чего похож-то! Ну так это тебе и за юмор твой, — показал я пальцем на монету, ребром торчащую из песка. — Больше ты и не заработал.

— Спасибо тебе, барин, — лукаво косясь на меня, заговорил рыбак, сунув руки в карманы брюк, — и зачем ты такой весь пришёл ко мне? Просить или угрожать? Чтоб я девчушек не пугал? Не выйдет, потому что ведь я-то их не пугаю, а предупреждаю против страшного, когда страшное есть. А когда нет, то прячусь у себя по обыкновению. Так что твои просьбы хоть и услышаны, да что я могу сделать? Мне что — каждого встречного, что ли, слушать и делать, как он велит? Да пошли все эти встречные.

— Моя сестра была испугана именно тобой, чёрт ты эдакий, а не неким страшным чем-то! — крикнул я. И в тот момент, когда я собирался уходить, пробормотав: «Просто безумный, что с тебя взять?», — на слове «взять» рука рыбака схватила меня за локоть.

— Ладно, барин, сам напросился! — объявил мужик.

— Отпусти меня, сумасшедший, — с силой вырвался я и

взглянул на него.

Он снова улыбался. Во всей позе его теперь, когда я вырвался, рисовалась какая-то деланная любезность, как будто он боялся, что его ударят, и такой позой, наверное, рассчитывал вызвать сочувствие. В эту секунду я мельком вспомнил своего одноклассника, перешедшего к нам классе в седьмом из какого-то совсем неблагополучного интерната. Тот делал так же, когда чувствовал, что ему вот-вот отвесят ту-мака: как-то приседал, на лице его сразу отражалась натренированная дурацкая улыбочка, а глаза, как и теперь у этого старика, оставались злыми. Ещё тот одноклассник поминутно всем пакостил, оттого и получал.

— Пойдём, покажу тебе, если не веришь в страшное. — Мужик присел ещё ниже, чуть ли вовсе не на корточки, и показал обеими руками дальше в сторону реки Побегушки. Он предлагал мне, как сообразил я, перейти через рошу, а затем через небольшой мост, чтобы оказаться на пустынном каменистом берегу.

— Никуда я с тобой не пойду! — запротестовал я.

— Тут чуть-чуть. Вы увидите, почему я давеча вашу сестричку не пустил туда. А она, уверяю вас, сама испугалась не того, чего надо испугаться. Я, как вы правильно выразиться изволили, оракул.

— Хорошо, пойдём! Только держись от меня за пять метров вперёд, — сказал я сурово.

— Вы тоже меня боитесь? — Улыбочка сошла с его лица,

а сам он выпрямился.

— Кто вас знает, что вы выкинете!

Старик посмеялся и повёл меня, идя далеко впереди. Скосил путь напрямую, через рощицу. Мы шли, огибая деревья, провалы и камни, кроме которых, пожалуй, всё сплошь здесь уже было вытоптано многочисленными ногами. Выйдя из рощицы с другой стороны, перейдя деревянный мост и оказавшись снова на берегу, мы прошли сначала по песку, а затем оказались на камнях. В километре дальше вдоль берега, за волнорезом, уже начинался пляж. Оттуда еле слышно доносились смех, возгласы и весёлые детские визги. Высоко над волнорезом реял большой летучий змей тигровой раскраски. Здесь же, в контрасте с человеческим гомоном всех мастей, царил шелест воды и крики чаек. Но лишь редкий турист захочет в этом месте отдохнуть, поскольку камни тут слишком уж великие и не позволяют лечь, да и в море купаться опасно опять же из-за камней, а также из-за какого-то подводного течения (уж не знаю насчёт правдивости факта о течении). Лишь некоторые, пожалуй, мизантропы приносили сюда раскладушку, когда потребность побыть подальше от людей важнее телесного комфорта.

Мужичок, пройдя по косой траектории ближе к бетонной дамбе, над которой ездили автомобили, примерно на середине каменистого пустыря вдруг остановился.

— Здесь! — проревел он, странно выпучив глаза и указывая пальцем куда-то вниз. Я был ещё метрах в сорока и

не спеша подходил к нему. — Пойдёмте! Здесь! Вот почему я сестричку вашу не пустил. Вы ведёте себя как совсем глупые! Словно не видите, что сейчас вокруг творится и в каком мире живёте. — Мужик кричал грозно, без тени насмешливости, совершенно серьёзно и даже трясясь.

Но когда я остановился в паре метров от него, он вдруг изменился в лице — снова стал каким-то лукавым и точно юродствующим, хотя в голосе его осталась какая-то громогласность, что только что разверзалась предо мной, но и она с каждым словом сминалась. Так оно всё было, точно от моего присутствия мужик гиб, как растение от мороза.

— Посмотрите, — сказал он уже в лебезящем своём виде, а после улыбнулся, а в глазах при этом сверкнула злость. — Это здесь сегодня убили... Убили человека. Милиция уже всё собрала. Это нектар богов!

— Что? Какой ещё нектар богов? — сказал я и нагнулся, чтобы разглядеть то, о чём так волновался мужичок.

Несколько камней были краснее остальных, скорее даже ржаво-бордовыми, но не сплошь, а пятнами. Я всё ещё был в трёх метрах от него.

— Это кровь? — спросил я почти равнодушно.

— Как раз когда убивали, я знал о том, да соваться не стал. Убивали бесцеремонно, прямо под окнами вон того дома, — он махнул рукой в сторону пятиэтажки, возвышающейся над дамбой. Отсюда, за полкилометра, дом выглядел угрюмым, прямоугольной небольшой коробкой. — Хоть там, пожалуй,

никто не будет жаловаться, потому что люди, так в открытую и запросто уложившие человека, вряд ли боятся преследования и уж тем более жалоб скучающей бабки. А вы такие все неосторожные, — он хихикнул, — точно котята слепые... а тут — обрыв, барин, и котята все и падают, барин. А это — нектар богов, то, что свыше дадено, души остатки вытекшие! Не знаю, право, невинно он убиенный или всё же по вине какой, да только кто ж дал право виноватых или невинно живущих умерщвлять? И вот то-то же! То-то же, что есть у них это право, но это значит, что они либо нечисть, либо боги! А сейчас время-то как раз такое — ох, время всегда такое! — что два свойства этих вместе в одном существе живут! — он расхохотался и сам свой смех перебил, зыркнув на меня чернотой глаз. — И неплохо ведь живут! Вот раньше, барин и сударь, «добро и зло — учили нас в школе — добро и зло как бы по разные стороны стоят, как чёрное и белое». Но тепереча чёрное и белое — всё в сплошную серую грязь смешалось. И на что теперь путь держать, когда все звёзды путеводные померкли! — он заговорил ещё быстрее. — Двое в кожаных куртках, среднего роста, и ещё один, жертва ихняя, в рубашке парень, видно, впрочем, пиджак где-то потерял, и всё так буднично! И девушка с ними была, — мужичок полуприсел и на секунду развёл пальцами уголки глаз, — вот такая, из энтих самых... якудза! — Он вдруг засмеялся диким, страшным и сиплым смехом, так неудержимо, что даже глаза закрыл и сотрясся всем телом...

«Ведьмак какой-то, — пронеслось у меня в голове, а затем вдогонку сразу следующее: — Больной человек».

— Про якудзу — это я, пустим, присовокупил, но девушка была у них не иначе как главная, — он сделал несколько быстрых и коротких нервных шагов в мою сторону, оказался подле меня и стал тыкать в мою сторону пальцем. — Всё прозаично так, буднично: привели страдающего, на колени поставили, что-то обсудили с ним, плачущим, и застрелили. Никакой ведь романтики! И всюду ведь так, — его глаза сделались безумными и стали ещё злее, а улыбка растянулась, он ещё приблизился и начал хихикать сквозь зубы.

Чтобы не показать слабость духа, пришедшую ко мне, я не шевельнулся, а лишь изготовился быстро реагировать.

— Серая грязь! — повторял он. — Чёрное и белое всё смешалось, а красное — нектар богов — всё утекло! Вот он, нектар, на камнях-то, тоже серых. И небо серое, — он вдруг резко посмотрел мне в глаза, как будто и не метал только что зрачками во все стороны, улыбка превратилась в оскал. — Вы верно сказали... про оракул я запомню — это обязательно. Многому можно научиться, живя как я, но не тому, чему люди такие, как вы, учатся. Серое и красное! По вашему лицу вижу, — мужик хохотнул, — что вы почитаете меня сумасшедшим и что весь смысл слов моих разлетается для вас стаей галок. Но я ведь осмысленные вещи говорю. Вы повесили на меня сумасшествие да преспокойненько ждёте, когда появится возможность слинять отсюда, а меж тем это

вы не слышите смысл, а я-то его вкладываю.

— И ведь действительно, что я тут делаю! — Я обошёл мужичка и сделал несколько решительных шагов в сторону бетонной дамбы, но окрик остановил меня, и я застыл на месте, не поворачиваясь.

— А сестричка-то ваша — самый мёд!

Несколько времени я, точно истукан, стоял спиной к мужику, пытаюсь уловить в этих словах хоть что-то безобидное, и когда понял, что он провоцирует меня, хоть и не ясно на что, я повернулся:

— Что тебе до того? — твёрдо сказал я.

Мужик наигранно пожал плечами:

— Мало ли где она будет ходить, вы бы с ней поосторожнее, не пускали бы её куда попало.

— Да кто тебе дал такое право, старик?! И кто ты сам вообще?! — возопил я.

Слово «старик» на мгновение что-то переменило в лице рыбака, будто он боялся услышать его, а затем он беззвучно ухмыльнулся, сунул руки в карманы, сказал:

— Сам не знаю, кто я. Ты, барин, про других людей лучше спроси. Вот про тебя или про сестру твою — сказать ещё могу. И про себя — оно ведь самое трудное! Как изрёк древний: «Самое трудное — познать себя, а самое лёгкое — советовать другим».² Или судить других? Потому-то я и не знаю,

² Фалес Милетский (640/624 — 548/545 до н. э.): «Самое трудное познать самого себя, самое легкое — давать советы другим».

кто я, а про других смогу говорить с лёгкостью. А прав вообще никто никому не даёт! К тому же вот вы меня судите, тогда как я ничего дурного не сделал. Сделал только лишь обычное человеческое предупреждение. — Мужичок улыбнулся и зашагал прочь.

— Тьфу! — сплюнул я и пошёл к дамбе.

От такой встречи на душе у меня сделалось ещё гаже. Я жалел, что не залепил старику как полагается, но, с другой стороны, не было за что, разве что за то, что болтает. Но это не ко мне. В мире достаточно людей, раздающих тумаки за болтовню. Впрочем, когда я добрался до дороги, поймал машину и отгородился от побережья стеклом, мне значительно удалось отвлечься.

6-е число

Владимир Радомирович Пшеницын и Сергей Александрович Багусник

Встреча в коптильне

Случилось так, что начальник коптильни поручил Сергею Александровичу провести экскурсию для небольшой группы туристов из пансионата, в числе которых оказался наш знакомый Владимир Радомирович Пшеницын. Такая встреча произошла совершенно естественно и случайно, и до того они совсем не знали друг друга. Кто после того мог знать, что встреча эта окажется судьбоносной и даже роковой. Ведь, казалось бы, что может связать двух столь непохожих друг на друга людей. Но именно со столь непохожими людьми, жизни которых происходили изолированно друг от друга и до сих пор не пересекались, порой и случается столкновение для них переломное.

Владимир Радомирович Пшеницын оказался в группе трёх пожилых дам и молодой пары с ребёнком лет восьми не из особой любви к копчёностям, а лишь из стремления

отвлечься от размышлений об утраченной семье. Ведь накануне вечером, в день приезда в Петрозалив, и даже в это утро Пшеницын подумывал бросить отдых, бросить эту келью с уходящим в бесконечность потолком и ностальгическими запахами, плюнуть, уехать домой, встать пред женой на колени и умолять со слезами и воплями её дать семье второй шанс. Именно хотелось ему, чтоб со слезами и воплями, потому что как же ещё? Только так. И ещё обнимая колени жены так, чтобы она не смогла сама сесть рядом с ним и приняться его поднимать и чтобы не смогла уйти на расстояние и тем самым продемонстрировать безразличие, что было и вовсе недопустимо. Но после обеда от этой затеи ему стало тошно, поскольку он представил, что будет после его рыданий и душеизлияний перед женой. Жена погладит его по голове. Его, мелкого, тотчас униженного, самого себя размазавшего, горько вздохнёт и скажет ему: «Ну, полно тебе, Вова, уже всё решено». Это ещё в лучшем случае — горько вздохнёт, а если не вздохнёт и будет спокойна и холодна? И только Пшеницын представил это, как ему сперва стало ещё больнее, а через несколько мгновений он решительно и даже со злостью откинул идею с рыданием и ползанием. Тут же посмотрел на себя с сожалением и горечью. Тут-то как раз Клара Тимофеевна постучалась к нему в номер, в котором он едва уже не стал лезть на стену от терзаний, и сказала, что сегодня обзорная экскурсия по консервным и коптильным предприятиям Петрозалива и что её муж отказался, а её но-

вая подруга в последний момент сказалась больной, так что пропадет билет, и что, мол, не хочет ли Пшеницын съездить вместо той.

Экскурсия не привлекла Владимира ни консервами, ни предприятиями. Однако он увидел в ней, согласно философии, которой он придерживался, некий «разделитель» на до и после. Он понадеялся, что такая мелочь, как экскурсия, не просто развлечёт, но и станет «разделителем», перейдя через который, можно открыть новую страницу жизни. Ведь консервы и копчёности настолько до нелепости не совпадают с жизненным контекстом Пшеницына, что он увидел в экскурсии именно то, что ему было нужно, чтобы взглянуть на себя как бы со стороны, из тёмных углов и с конвейеров фабрик. Он ухватился за билет, как хватается утопающий за соломинку, пусть даже это не соломинка, а резиновая пищущая игрушка для собак (разве утопающий выбирает?).

Часто бывает, когда имеется внутренняя тягость и рвётся сердце, всё вокруг начинает делать ещё большее, всё напоминает о предмете страданий. Вот, например, счастливейшая семья в экране телевизора лишней раз причинила бы Пшеницыну боль. Вид копчёных окороков, висящих на крючках аппетитными рядами, пирамиды из консерваций, кашница рыбного фарша — всё это вряд ли было способно на такую подлость, в отличие от той, без сомнения, жестокой семьи из телевизора. Владимир Радомирович, однако, понимал, что всё это — лишь видимость, результат преломления внешне-

го мира через чувства.

И вот, стоя в компании трёх пожилых леди и молодой пары с сыном (которая, к слову, почему-то не вызывала болезненных переживаний, видимо, потому, что не претендовала на звание чрезвычайно счастливой), Пшеницын впервые осознал, что уже давно и неизменно страдает. Прямо перед ним что-то довольно увлечённо рассказывал Сергей Александрович Багусник в белом халате, размахивая руками и заметно при разговоре шевеля рыжими усами, а Владимир Радомирович не слышал его, пустоглазо глядя сквозь Багусника уже несколько секунд кряду. Пшеницын наконец оказался вдали от привычной повседневности, в которой он только и делает, что работает в университете и разводится с женой. От повседневности, в которой он слышит обидные слова от дочери, которые не являются её собственными словами. Говорит эти слова маленькая девочка, но это слова обиды и озлобленности её матери, вперемежку с упрёками и детскими, наивными и пронзительно-искренними признаниями в любви. От повседневности, где единственной отдушиной ему служит труд над его философской концепцией «междубытия» и где даже посиделки с коллегами уже не увлекают и вводят в какую-то особую скуку, которую нельзя развеять, в отчаяние. Оказавшись от всего этого далеко, не столько в плане километража, сколько в плане душевной дальности, в засолочном цеху копильни Пшеницын вдруг почувствовал каждый цвет, оттенок и каждый элемент своего положения.

Он смотрел сквозь Сергея Александровича и видел себя, каким он к тому моменту стал — он увидел, что мучается и страдает всё это время, и в тот же миг он понял, что прежде этого не замечал. И тут же вслед за тем подумал, что было даже лучше, когда он не ощущал своего страдания, своей за грудиной боли, и что, в сущности, толку от этого осознания довольно мало.

— Обратите своё внимание на этот конвейер — совсем новенький образец, работает как часы, без сбоев, — услышал Багусника Пшеницын. — Наша коптильня всегда, во все времена, то есть... ценилась за свою продукцию и чистоту. За свою чистую продукцию. Раньше, по советским ещё ГО-СТам, всё выпускалось первосортное, качественное, вкусное. Перестройка, не могу не заметить, не шибко уж ударила по коптильне. Пять лет назад её выкупили немцы, а немцы марку держать за святое считают. Для них это, пожалуй, важнее даже прибыли, то есть если нет прибыли, то они готовы и терпеть какое-то время, но марку не уронят. И потому у нас новейшее оборудование и высококачественный товар.

— Дорогуший только, — брякнула Клара Тимофеевна.

Она была без мужа, оглядывала всё вокруг порой даже слишком энергически и просто с неприличным интересом. Так, когда только вышли в цех, она почти подбежала к слайсеру и стала наблюдать его работу, удивлённо раскрыв рот, приблизившись почти вплотную к ходовой части, так что сотрудник едва спас её, подлетая к ней и крича: «Нет, нет! Ни-

чего не троньте!»

— Да не трогаю я! Собственно, я просто любопытствую!
— раздражительно заявила Клара Тимофеевна, но всё же выпрямилась и отошла на пару шагов.

Сейчас на перебившие речь Сергея Александровича слова «Дорогуший только» он ответил:

— Да, так ведь вы заметьте и качество.

Клара Тимофеевна улыбнулась, а две другие старушки сделались недовольными, нахмурили брови, и одна из них процедила:

— Быстренько же немцы подсутились.

Вторая кивнула, точно то же самое и подумала, и поглядела на Сергея Александровича с недоверием.

— Так ведь у нас-то всё развалилось! — как бы оправдывался Багусник. — И стоять сейчас этой копильне, как и много чему ещё в стране, разрушенной.

Старушки вроде как засомневались, а Сергей Александрович продолжил экскурсию. Так группа снова оказалась у входа в предприятие, а после очередной дегустации с описанием всех оттенков вкуса, попрощавшись с экскурсоводом, вышла из здания. Все тут же куда-то разбрелись, поскольку копильня была последним в программе предприятием. Клара Тимофеевна любезно предложила вместе вернуться в пансионат, но перспектива снова увидеть четыре стены номера и себя, засунутого в них, Пшеницына не обрадовала, и он поблагодарил и сказал, что хочет посетить ещё парочку

мест.

Так Владимир Радомирович остался один. Солнце клонилось к закату, позади него возвышались большие белые металлические двери коптильни, а впереди тянулась улица, сливающаяся вдалеке с дорогой, виднелись какие-то склады, а жилые дома располагались поодаль, чтобы их жителей не раздражал извечный запах с коптильни. С другой стороны в лесополосу уходила просёлочная дорога. Коптильня, таким образом, выступала межой, отделяющей город от природы. На дегустации Пшеницыну всё показалось одинаковым: солёным, со вкусом дыма. С непривычки к таким продуктам он не различил ни «тонкий ольховый аромат», ни «кедровый привкус», он был далёк от этого искусства, тем более уж по части копчёностей, и прекрасно осознавал это. Когда участники экскурсии скрылись за постройками в дали улочки, Пшеницын всё ещё стоял, находясь теперь в настроении созерцательном: его радовал и запах дымка, смешиваемый со свежим воздухом, и солнце, и лес, и пустырь, и постройки. Всё это заливал красивый оранжевый свет, всё гармонировало между собой и вызывало в душе какое-то приятное шумящее чувство. Прислушавшись, Владимир Радомирович различил за негромким, но слышным гулом конвейеров коптильни стрёкот кузнечиков в траве, а в воздухе — отдалённые трели стрижей. В этот момент позади Пшеницына скрипнули ворота. Он обернулся и увидел, что Сергей Александрович, сняв рабочий халат, прислонившись на

неподвижную створку двери спиной, стоит и курит.

— А вы это что же, забылись, надо думать? — пробурчал Сергей Александрович. Хотя в своей реплике он того не выразил, но он хотел помочь и подсказать, куда идти.

— Я забылся? — несколько потерянно ответил вопросом Пшеницын, повернулся к Багуснику боком, поставив руки на пояс. Далее он так и говорил, стоя в этой позе, поворачивая голову то к Багуснику, то глядя куда-то в сторону леса. — Нет, я хотел задержаться. Это место — как граница между городом и природой. Интересный эффект.

— Это — да, отсюда до Дальнего озера рукой подать. Вот по просёлке, а затем слева тропка будет через заросли. Там и озеро. Только ночью там лучше не ходить. Это же роща, там всякие колдыри да бандиты гнездятся. Именно тут пока случаев, тьфу-тьфу-тьфу, не было, но ведь в каждой роще ночью да встретится какой-нибудь тип, или даже группа типов. Лучше уж днём.

— Конечно, — не сразу ответил Пшеницын.

Где-то совсем рядом громко застрекотал и умолк кузнецик.

— А на то озеро я до работы, бывало, ходил рыбу ловить. Вставать, правда, лень. Но зато если уж встанешь и погода хорошая, тогда уж настоящая красота. В наше время, пожалуй, рыбалка-то — единственное место, где от своих можно спрятаться. Благодать. Особенно хорошо то, что раньше всех встаёшь, жена не успевает зацепиться за что-нибудь, и

шмыг — за дверь. Часто, правда, дед в пять часов уже не спит. В кино смотрю, как показывают стариков. Там они же спят иногда даже и на ходу и во время разговора засыпают. Это уж в кино. А тут... а, ну его!

— На самом деле старики спят очень мало. Некоторым двух часов днём да двух часов ночью вполне хватает. Это мне один знакомый с кафедры медицины сказал. У них обменных процессов мало, энергия на рост новых клеток почти не тратится, уже будто просто из привычки одной спят. И часто жалуются на бессонницу, а у них и нет её вовсе, просто им больше не нужно.

— Вот-вот! Как интересно вы говорите! Дед вот, то есть он же — тесть мой, тоже жалуется, таблеточки пьёт. Докучает всем. Сам не спит, да другим иногда не даёт. Бывало, как начнёт ночью что-нибудь чинить. Помню, раз сплю себе спокойно, а он молотком в кухне в темноте стучит. Все выбегают, а он: «А что? Я же тихонько!» Он тихонько! Ночью — молотком стучать. Жена всегда на его стороне, даже тогда, с молотком-то. Я ему тираду начал читать, а она перебила меня и сказала: «Ну и что, не видишь, не спится?! А ты, папенька, лучше бы кроссворды порешал». На меня так грубо, а ему так мягко, как дитю какому. И с возрастом это всё сильнее, пожалуй, — Багусник немного помолчал, затем небрежно (хоть сам так не хотел), словно делая какое-то серьёзное одолжение, бросил Владимиру Радомировичу: — А у вас есть семья?

— В какой-то мере, — подумав, ответил тот. — Не совсем и наполовину.

Лицо Багусника выражало ожидание, как будто ему сказали: «Извините, вы не могли бы...» — и не договорили. Пшеницын засмеялся от своих слов, стараясь скрыть за смехом замешательство от того, что он не знал, как объяснить. С одной стороны, ему теперь хотелось сказать просто: «Есть жена и очаровательная дочка», но после внезапного для него же самого высказывания «В какой-то мере» отступить было уже поздно. Он нахмурился.

— Ах, трудности? — всё так же ожидающе сказал Сергей Александрович. — Извините.

— Да что вы... Всё правильно. Трудности, только не извиняйтесь. Разводимся. И у нас есть дочь.

Багусник поджал губы, и его усы тоже как бы поджались.

— Так ведь, когда детей нет, всё немного проще. А дочь, верно, всё осложняет?

— Дело не в дочери. Я её очень люблю, она просто сокровище. Дело в том, что мне и жену разлюбить невозможно. Она ведь всё сама решила за нас. А так ведь и с чего нам разводиться?! И знаете ещё что? Я это понял только сегодня, на экскурсии, — что всё ещё люблю её и что она сама всё решила, а не мы вместе. Я ни в коем случае не хочу сейчас выгородить себя, я действительно виноват, что что-то будто упустил, потерял в отношениях, — он шаркнул ногой по щебёнке, — я мало участвовал в семейной жизни в послед-

нее время. И допускаю, что ей вполне могло это надоест, что она могла разлюбить, устать от меня. Но при всём этом я только какие-нибудь полчаса назад, когда вы, простите, рассказывали о новом конвейере или о способе засолки, я вдруг осознал весь трагизм моей ситуации, вдруг осознал, что давно уже и невольно страдаю от этой любви. — Пшеницын говорил хоть и громко, но как бы объясняя самому себе что-то, чего сам до конца не понимал, подбирая слова, запинаясь и перебирая пальцами руки, почти буквально нащупывая что-то вроде ниточки, которая приведёт к ответам. И тут же Пшеницын осознал, кому и при каких обстоятельствах он это рассказывает. В самом фантастическом сне он не мог бы увидеть подобное, и от понимания ситуации, в которой тотчас оказался, он хохотнул и посмотрел на Багусника, который глядел с прищуром, с каким иные собеседники слушают весьма внимательно и заинтересованно. — Понимаете меня?

— Я сам женат довольно долго, — пробурчал Сергей Александрович низким голосом. — Женат, живу к тому же с отцом жены и нашим уже почти взрослым сыном (сыну Багусника десять лет), так что я вас положительно понимаю. Послушайте, а что, если нам с вами этим вот самым разговором взять да и переместиться в бар неподалёку? Я как раз закончил и собираюсь уходить. Похоже, что тут нужна обстановка иная. — Он добро усмехнулся.

Владимир Радомирович пожал плечами:

— Почему нет? Тогда я вас тут подожду.

Новые знакомства

Сергей Александрович, когда вкратце узнал историю Владимира Радомировича, испытал несколько смешанные чувства. Он, конечно, посочувствовал собеседнику, но ещё более ощутил какой-то внутренний подъём, комфорт, которого не было давно. Ему сделалось до неприличия приятно, так как он встретил человека, очевидно, несчастнее себя, и это мигом воодушевило Сергея Александровича, придало ему бодрости и сил. Надо здесь сразу сказать, что Багусник не был человеком малодушным, напротив, он искренне сочувствовал каждому страдающему, но сейчас восторг от того, что кому-то ещё хуже, был сильнее. Он не осознал этого, а просто отдался возможности побыть почти счастливым человеком.

Содержание всей их беседы в баре я приводить не буду. Они познакомились. Со стороны Багусника звучали слова сочувствия, а со стороны Пшеницына — откровения, с которыми читатель уже частично знаком. Багусник осознал, что он испытывает удовольствие от мрачного рассказа Пшеницына, лишь ближе к середине общения, и тогда он произнёс: — Да, всё это, Вова (они перешли на «ты»), печально, но ты держись. У меня, ежели серьёзно вдуматься, жизнь тоже не сахар. Семья, пустим, имеется, но какова она? Жена всё время только своё гнёт, выразиться не даёт. Дед, чуть что,

защищает её, даже если она не права. Сын — тот и вовсе, что называется, в поле ветер, в ж**е дым, — он усмехнулся и вздохнул. — Вот видишь, и семья, да всё равно не то что-то. Наверное, я где-то не прав. Но погоди... — он вдруг приободрился. — Я ещё покажу им! Ещё как покажу!

Здесь Пшеницын не знал, что сказать: либо спросить, что Сергей Александрович показывать намеревается и тем самым, возможно, поставить его в тупик и обидеть, поскольку по интонации его становилось ясно, что показывать ему ещё нечего; либо молча ждать продолжения. Так что Пшеницын ждал. Барчик, кстати сказать, был другой. Не тот, в котором сидели Павел Павлович с Андреем Тимофеевичем. Этот был поменьше и красивше интерьером, выполненным в тёмно-синем и золотом цветах, с изящными стульями и столами, и дороже по меню, но он был ближайший к коптильне. Располагался он сразу напротив питомника и назывался «Золото».

— Кстати, этот питомник, — неожиданно сменил тему Сергей Александрович, — уникальное в России предприятие. В малом загоне, размером с два футбольных, поселили рысей, а в загоне побольше, с три поля, — то ли ланей, то ли оленей. Наверное, ланей. Впрочем, не помню. Что-то в том роде. Эти загоны сообщаются. Открывая и закрывая ворота между загонами, работники питомника меняют численность популяций. Странный эксперимент, но он удался, и теперь у нас в городе есть рысятник и оленятник, — Сергей Алек-

сандрович усмехнулся в усы. — Вон, в окно видна сетка рысятника. О, вспомнил! — перебил сам себя Багусник. — Там карликовые олени. Так вот, что я хочу сказать: живут там себе рыси, а не догадываются, что они в вольере. Они свободны, так они себя ощущают. А в действительности деревья — насажены, камни — завезены, а сетчатые стены не обойти ни с какой стороны. Но они об этом не знают, по сути, рысь ведь всего лишь большая кошка, глупая и привязывается к дому. Что есть их вольеры? Дом или тюрьма? Я уже молчу про оленей — те ведь ещё тупоумней. Вот как баран на ворота смотрит, так ведь и олени на всё смотрят. Только баран бежит к воротам, а олень — от ворот. Ну, дом это или тюрьма?

— Я думаю, это скорее дом, чем тюрьма, раз они этого не осознают. Из дома кошку тоже не пускают, а ведь для неё это дом. Мне кажется, Сергей, дело тут в том, что ни у рыси, ни у оленя нет понятий «дом» или «тюрьма», но у них есть «рефлекс свободы» по Павлову, хотя многие с этим спорят, и ты тоже можешь. Этот «рефлекс свободы» просто объясняет ситуацию: чувствует животное, что ему не дают двигаться какие-то ограничители, значит, при снятии ограничителей животное вырвется, что называется, на свободу. А не чувствует — значит, не вырвется, значит, оно на свободе.

— То есть в вольере они свободны? — медленно постукивал зажигалкой по столу Багусник. — Как я и сказал?

— Видимо, да. В таком животном понимании, чисто телесном — да. Может быть, им тесновато друг с другом, но

ведь «тесно» — не то же самое, что «тюрьма».

Пшеницын всерьёз вдруг задумался. Он понимал, что свободы — тема обширнейшая и неоднозначная и что у философов есть разные мнения на этот счёт, но он вспомнил в тот момент мнение Сократа, что «законы существуют только для свободных людей», и пытался примерить его на данный разговор. И также чьё-то мнение, что свобода всегда одна на всех и на всё и не может быть свободы внешней и внутренней, но встать он захотел на другую позицию. Как виделось Пшеницыну, Сергей Александрович говорил на эту тему слишком, до неприличия по-простецки. Дескать, свобода или нет? Владимир Радомирович к такой конкретности не привык. Но он решился: по-житейски, значит, по-житейски.

— Вот тут, кстати, — отпив от своего бокала, продолжал Багусник, — есть отличная поговорка: в тесноте, да не в обиде.

— Хорошая поговорка, здесь весьма уместная. И всё-таки свобода человека — это несколько иное, чем свобода животного. Тут определённые законы замешаны. Люди, если они здоровы, стремятся к обществу, а не против общества. И в свободе они соблюдают законы. К примеру, «твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого» — одна из таких формул-законов. Тут она уже звучит иронически, и не помню, кто её такой сделал, но ведь смысл-то прежний, что свобода — это всегда рамки.

— А если рамки, то какая же это свобода? — лукаво по-

глядел на Владимира Сергей.

— А вот смотри, — Пшеницын поставил бокал и выставил перед собой руки, словно и впрямь собирался демонстрировать ловкость рук. Но этот жест обозначал границы чего-то. — Я всегда определяю для себя добро так: это то, что в определённых рамках, это некая «золотая середина». А крайности... то есть вот тут и вот тут, — он ткнул пальцем за пределы нарисованной в воздухе рамки, — уже зло. А потому и свободы там быть не может. Хм... как бы сказать? — Владимир сам понимал, что выражается довольно кустарно, но Сергей задумчиво закивал.

— Например, — заговорил Сергей, ухмыляясь, — вот мы сидим и пьём пиво. Если в меру, по-твоему, в рамках, то всё хорошо. Если же я закажу водки и стану запивать её пивом, то я сотворю зло. А если мы даже чаю не закажем, а станем разговаривать так, словно я у тебя на улице закурить попросил — это уже другая крайность, и, стало быть, тоже зло?

Пшеницын сделал круглые глаза. Такого примера его концепции ещё никто не приводил. Он кашлянул и ответил:

— Похоже, что так. Но во втором случае, если мы как чужие люди на улице бы общались на эти темы, это, вероятно, было бы не зло, но странность. Лично я не видел, чтобы незнакомые люди, прохожие, внезапно останавливались бы посреди дороги и заговаривали бы о свободе, вот как мы. Это было бы странно. Хоть и не зло, но крайность.

— То есть зло и добро — всегда не сами по себе, а для

чего-то?

— Это-то совершенно верно. Самостоятельно добро и зло не существуют. У них есть предмет.

— И так, как с этими рамками, мерами — повсюду? То есть это применимо для всего?

— Я полагаю, да, если это касается человека. Вот человек мало работает или не работает — себе зло, и сидит на шее у общества — зло. Вот он много работает и болеет — зло. Вот он работает, соблюдая законы существования человеческого организма, законы трудовых отношений, законы человеческих отношений, — он живёт долго и счастливо. Выходит, так он в большей степени свободен. — Владимир сделал несколько больших глотков из пивного бокала.

— Ага! — словно в чём-то уличив Пшеницына, вскинулся Багусник. — То есть свобода ещё и относительна!

— Наверное, относительно всё. Мы смотрим на рысей и думаем, что они несвободны, потому что их ограничивает забор. А вполне возможно, если кто-то больше, чем люди, посмотрит на планету Земля, то увидит, что мы не можем даже преодолеть Солнечной системы, и скажет, что мы не свободны. Я не утверждаю, что есть какие-нибудь пришельцы, это просто пример. Можно смотреть и так на ситуацию, что «свобода», равно как и «несвобода», — просто слова, введённые людьми для удобства. На самом деле в реальности всё обстоит иначе. Реальность бессовестно бессловесна. А если так, то в ней не может существовать ни свободы, ни

рабства.

Тут Владимир Радомирович замолчал, а Сергей Александрович задумался. Оба какое-то время молча пили пиво. В барчике никого, кроме них и бармена, не было. Бармен сидел, расслабившись, и с сонным видом постукивал пальцем по стойке в такт тихо игравшей по радио танцевальной попсе.

— Я предложил бы так, — внезапно продолжил Пшеницын, — предложил бы тебе понятие степеней свободы. Вот, скажем, на радиоприёмнике степеней свободы у регулятора громкости — 360, потому что градусов 360. У путника перед камнем, на котором написано «налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — ещё что-то, прямо пойдёшь...» и так далее — четыре степени свободы, потому что он может вернуться.

— Пять, — задумчиво брякнул Сергей.

— Почему пять?

— Ну, путник может и ничего не делать, и это будет пятая степень свободы. В общем, я понял. Так, значит, свободы нет?

— Почему же нет? Свободу нельзя, как какой-то предмет, взять в руки и показать всем: смотрите, это свобода. Кто-то говорит, что она вообще абсолютна. Но, по-моему, это романтизм. Кто говорит, что свобода едина и абсолютна, тот лишает это слово практического — да и всякого — смысла. Свобода, получается, в рамках.

— Ограничена. Ты можешь делать многое сейчас, но, допустим, отрастить крылья и вылететь на них тотчас же в окно ты не можешь. Свобода в рамках. — Сергей Александрович заметно погрузтел.

Ему больше нравилось слушать историю бед Владимира Радомировича, чем слушать его доводы на тему свободы. Он уже собирался допить пиво и подвести беседу к завершению, а потом пойти домой, но не мог подобрать слова завершения. И тут как раз произошло нечто совершенно неожиданное. Дверь барчика приоткрылась, внутрь вошёл мужчина и три девушки. Все трое — Владимир, Сергей и бармен — обратили на вошедших свои взоры. Мужчина был в чёрных джинсах, пиджаке и шляпе. Ни толстый, ни худой, он двигался неспешно, спокойно, слегка ссутулившись. Лицо его как-то вытягивалось вниз то ли от скуки, то ли от пренебрежения ко всему, а руки занимал коричневый зонт-тросточка. На девушках пестрели какие-то наполовину деловые, наполовину вечерние платья — синее, салатово-серое и тёмно-серое. Четвёрка проследовала мимо наших героев и усеялась в дальнем углу зала, в полутьме. Усевшись, мужчина стал оглядывать интерьер бара, а девушки глядели в окно, но не в попытках что-то там увидеть, а словно в ожидании. Явно азиатская наружность девушек что-то зашевелила в памяти Владимира Радомировича. Сергей Александрович же глядел на них какой-то украдкой, но без особого интереса. Одна из девушек, та, что была в синем платье, огляделась

вокруг, ненадолго задержала взгляд на Пшеницыне, повернулась к мужчине и что-то шепнула ему. Он тоже посмотрел, а потом шепнул ей что-то в ответ.

У этой девушки на одном глазу красовалась повязка коричневой кожи. При взоре на неё у Пшеницына уже не просто засвербело в памяти, но что-то даже кольнуло в сердце. Он сразу не понял, что же это было, и невольно пристальней пригляделся к девушке. То была не кто иная, как одноклассница Пшеницына, которая некогда, классе в шестом, приехала из Кореи и проучилась до десятого, а после того, как Пшеницын знал, уехала обратно.

— Ты чего это так пялишься? — прошептал Сергей. — Негоже, это влиятельная семья. Мне неизвестно, чего это они забыли в таком пусть и приличном, но странном для них месте, и так смотреть на них точно не стоит.

— Мне... — сказал Пшеницын и ужасными глазами посмотрел на Багусника, — кажется, это моя одноклассница. Та, что с повязкой. Точно-точно, только раньше она повязку не носила.

Сергей Александрович растерялся, затем придвинулся к Владимиру ближе и низко полушёпотом пробормотал:

— Как? Одна из девушек странного богатея — твоя одноклассница? А остальные знакомы?

— Остальные не знакомы, — похолодевшим от неожиданности голосом исступлённо пробормотал Пшеницын. — Да и остальные не корейки. Одна, кажется, китаянка. Другая

вроде бы из якуток. Так они выглядят.

— А разве они не одной национальности? — Сергей хотел сказать что-то другое, но вырвалось это.

— Разных. Слушай, мне рассказывали... то есть я слышал от... неважно... в общем, этот господин... с ним связаны какие-то слухи, что вроде бы он содержит девушек. Болтают, что он на них наживается или что-то вроде того. И что девушек не три, а дюжина. Они все живут с ним и все — чукчи. Хотя мы с тобой видим, что они не чукчи.

— Пожалуй, на чукчей не похожи, — выдохнул Сергей Александрович.

Его грусть немного отступила. Теперь он будто бы наблюдал за тем, что разворачивается в баре само по себе, и слушал Пшеницына, отхлёбывая пиво. Наблюдал так, как наблюдают иной раз по телевизору соревнования в каком-то виде спорта, о правилах которого имеют довольно смутные представления.

— Стало быть, не чукчи, — краем глаза всё ещё косился на новопришедшую компанию Пшеницын. Произнёс он это словно в разочаровании, но на самом деле думал о другом. — Все звали её Сонечкой. Мою одноклассницу. Но зовут её, как я помню, Сун. В те времена, знаешь, к приезжим отношение было дикое, сложное. Хотя русский был для неё первым языком. Не знаю, как так у неё сложилось. Поначалу её в классе доставали, но мы с товарищем её пред всеми защищали. Товарищ, кажется, ради одной браваты, а мне она нра-

вилась по-настоящему, — Пшеницын улыбался своим мыслям, и вдруг улыбка сошла с его лица, и он пристально посмотрел на Багусника. — А однажды я её сам обидел. Давно это было. Кажется, целую вечность тому, но мне всё равно стыдно. Как тогда. Стыдно, и чувство это с тех пор не умирает. Бывает же такое.

Владимир Радомирович внезапно умолк и отпил пиво, глядя на изящную люстру под потолком. У него на секунду пронеслась мысль, что интерьер этот сильно изысканный и для обычного бара, пожалуй, совсем нелеп и абсурден. И что тут больше подошло бы жёлтое стекло и массивные, из коричневого дерева столы, стулья, стойка и даже элементы стены, в подражание бургерскому бару. По крайней мере, в практике оформления российских баров то было привычной.

Он собирался между делом сказать об этом Багуснику, но тот как-то всем телом с вызовом промычал:

— Ну? — и жестом заказал ещё два пива.

— Что «ну»? Ах, как я её обидел? Я Сонечку предал, — с каким-то умильным выражением лица сказал Владимир Радомирович, отчего-то схотнул и продолжил, улыбаясь. Улыбка его, очевидно, была призвана скрыть что-то. Дескать, давно это было, право, глупости всё. — Уже в десятом классе я сотворил странное. Да, я в неё влюбился, а она тогда встречалась с парнем из одиннадцатого. Поскольку я с ней дружил, то убеждал её, чтоб она его бросила, что он сноб и

слишком бесчувственный, а она достойна большего. И так я, признаться, разгорячился, что пошёл дальше, вызвал парня на разговор и наговорил ему про Сонечку такой белиберды, какой, наверное, бесы о грешнике Дьяволу не лепечут. Или лучше — бесы о праведнике. Ведь о праведнике всегда больше болтают дурного... то есть я решительно выставил Соню в гнуснейшем свете. Вот всё, что знал о ней, преувеличил ему и извратил. Вот, к примеру, другой её после дискотеки провожал, когда она уже с этим встречалась. Он на этой самой дискотеке остался, кстати, что я потом Соне в качестве аргумента против парня приводил. Так ведь я сказал парню, что другой не просто проводил её, как было на самом деле, а всё переиначил. Превратил её в гулящую и развратнейшую. И много ещё чего говорил, что и похуже будет. И хотя то меня не оправдывает, но, наверное, оговорюсь, что делал я это как бы по инерции, как бы предчувствуя, де, что вот-вот он бросит её, а я буду с ней рядом. Классическая история, как в песне: «Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют...» — ну и так далее. Такой ведь низкий поступок. Тогда я всю низость этих действий не понимал. Я-то думал, что делаю благое дело. Ну и пусть, что приукрашиваю. Так ведь кому приукрашиваю? Чурбану-баскетболисту, у которого в голове одни только лязги кроссовок о паркет спортзала да литры водки (о, тот блаженный возраст, когда некоторым ещё удаётся это совмещать! Позже люди обычно вынуждены выбирать что-то одно). Я этого чурбана даже

за человека не считал. Такой вот я был. Теперь признаю: я был высокомерен, самонадеян, глуп и горд. Хотя гордость же позволила так поступить! Значит, дело не в гордости. Ещё я сказал ему, что Соня его не любит и любить не способна, потому что у неё чуть ли сердца нет и всё в таком роде. Как я мог на что-то после этого рассчитывать? А я рассчитывал. Наивно рассчитывал, что они этого обсуждать не станут. Парень выслушал, покивал, даже руку из кармана достал, чтобы голову почесать. И, к моему удивлению, говорит: «Это всё, допустим, ясно. Вот только тебе какая польза от того, что я это узнал?» Я обалдел, ведь никак не ожидал, что он об этом спросит. «Как? — говорю. — Так ведь я за правду. Страшно смотреть на эти отношения, построенные на её лжи». — «Ты же с ней дружишь. В чем тебе резон?» Я так и не нашёл что сказать толкового. Отделался какой-то чепухой, разгорячился, покраснелся и ещё подбавил. Сказал, что он парень хороший и что ему доверяю. Вижу, как ты на меня смотришь, Сергей! Да я сам как смотрел на себя после этого... Но когда шёл на это — и мысли о дурном не было, а только после... как же я её ему показал!.. А ведь не её показал, а только себя. Исключительно себя в итоге показал. Парень задумчивый ушёл домой. Надо думать, что они встретились с Сонечкой и всё это просто обсудили. А на следующий день в школе Соня глядела на меня с отвращением и как бы с жалостью и даже не считала нужным сказать мне что-либо. Вечером, когда я вышел за хлебом, спортсмен, пыхтящий как бык, избил меня

прямо в моём собственном дворе, да ногами пинал. Поодаль, на стрёме, стояла его шантрапа. Стоит ли говорить, что у меня не было шансов. Да так вроде и честнее. Вот это, кстати, с тех пор, — Владимир указал на небольшую кривизну своего носа. — Это ещё вправили. Ну да чёрт с ним, с носом. Ещё легко отделался. Я ведь тогда единственно думал, что в борьбе за Соню всё сгодится, то есть, как говорят, на войне все средства хороши. Ну так не все! Ну так и не хороши все средства. Этот уж урок я извлёк, что в первую очередь нужно человеком... И вот, Сергей, гляди. Уже много времени прошло, но ведь не бывает же так, чтобы вчерашняя низость и подлость сегодня обернулась благородством. Не правда ли, странный поступок?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.